

опустошитель
[иверсия курутьлы]

#39
эскапизм



Журнал «Опустошитель»
#39. Эскапизм
Москва, апрель 2023
260 страниц

Главный редактор Вадим Климов

Этот номер мы начнем без вступления, потому что оно никуда не годится. Итак, апрель 2023. Опустошитель #39. Эскапизм. Да-да, именно эскапизм. Энтони Берджесс, Уильям Берроуз, на всякий случай Жан-Люк Годар, Евгений Головин под ручку с Александром Дугиным, Павел Лукьянов, Эмиль Чоран и торжественное возвращение Леша Лапшина, правда, на этот раз не в качестве автора, но персональным телом. Эскапизм позволяет и не такое. Бегите от реальности, пока она не зачихнула вас на страницы инверсивного издания.

*В оформлении обложки
использована картина Rosie Hardy.*

ISSN 2219-5424

Опустошитель, 2023
<http://pustoshit.ru>

ж
у
р
н
а
л

О П У
С Т О
Ш И Т
Е Л Ь

#39. Эскапизм

Энтони Берджесс
Уильям Берроуз
Федор Бирюков
Жан-Люк Годар
Евгений Головин
Жан-Пьер Горен
Михель Гофман
Колин С. Грэй
Александр Дугин
Вадим Климов
Дмитрий Колейчик
Павел Лукьянов
Михаил Сеньков
Давид Фару
Нелли Цымбаленко
Эмиль Чоран

Москва
Апрель 2023

СБОУ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Проходя мимо спортивной школы, Эльза увидела сидящих у футбольных ворот девочек лет двенадцати. На некотором расстоянии от них сновал уборщик с воздуходувом. Одна девочка — та, что сидела спиной к уборщику — причудливо сложила ноги, сомкнув колени и разведя ступни, она почти касалась попкой травы. Вторая — лицом к уборщику — села, простодушно расставив полусогнутые ноги.

Короткие юбки колыхались на ветру, и Эльза подумала: какие нескромные позы у таких очаровательных малышей. Вот почему уборщик никак не уходил, он крутился почти на одном месте, орудуя трубой своего воздуходува.

А в этой время друг Эльзы Адик влюбился в Аленку.

Он нашел ее совершенно случайно по дороге к метро. Аленка была выкрашенным в желтый цвет пнем, который обвязали белым платком, а с приподнятого края заткнули хворостом. Получилось довольно красиво. Но самое неожиданное заключалось в лице — кто-то нарисовал на желтом срезе пня глаза, нос и алые губы. Аленка смотрела куда-то в сторону, влево от себя, и плутовато улыбалась.

Адик долго не отходил от нее, пытаясь разгадать секрет обаяния. Тщетно. Желтая девушка в платке решительно завладела его чувствами. Даже когда Адик наконец оставил Аленку, она не покинула его мысли. Адик брел к станции метро, грезя девушкой. Он едва различал дорогу, словно в непроницаемом тумане.

Древние греки считали черепаху самым быстрым животным на Земле. Философ Зенон посвятил черепахе знаменитую апорию «Осталось совсем немного». Это фраза, которую черепаха бросает мчащемуся за ней Ахиллесу.

Но Ахиллес никогда не догонит черепаху, он всегда будет оставаться сзади. Именно эту недостижимость с математической аккуратностью доказывает Зенон простыми, но точными, как таблица умножения, рассуждениями.

Эльза прижалась к перилам, и Адик проскочил между девушкой и стеной. Он продолжал говорить, Эльза так запыталась, что решила немного отдохнуть.

Адик преодолел оставшиеся ступеньки и вошел в книжную лавку, напоминающую внутренность панциря улитки. Здесь не было ничего, кроме книжных корешков, прикрывающих стены закручивающегося спиралью прохода. Книги и пара продавцов... И категорическое отсутствие покупателей.

Когда Эльза тоже вошла в магазин, то стала свидетельницей странного триолога. Один продавец общался с Адиком, но не напрямую, хотя тот стоял в паре метров, а через своего коллегу. Суть вопроса Эльза так и не поняла, да и не пыталась. Кажется, первого продавца попросили передать что-то Адикю, но по какой-то причине он не хотел говорить с Адиком напрямую, предпочитая делать это посредством коллеги.

— Что это за полунемой идиот? — шепотом спросила Эльза Адика, когда оба сотрудника удалились.

Адик улыбнулся.

— Просто... он тоже влюблен в Аленку.

— Какую еще Аленку?

Спустя несколько минут сотрудник книжной улитки уже работал ступенькой в подъезде Эльзы и Адика. Уходя вглубь магазина, он неожиданно что-то вспомнил и ринулся обратно, проскочив мимо молодых людей. Костик, так звали сотрудника, пытался успеть выскочить наружу, пока не закрылась дверь, но споткнулся обо что-то на полу и, падая, буквально воткнулся головой в проем между стеной и дверью.

От неожиданности Костик потерял сознание, а после обнаружил себя неподвижно лежащим у подъезда дома. Двигаться он не мог, а голова превратилась в выкрашенный желтым пень, обмотанный белым платком. Так Кости стал Аленкой — девушкой, в которую он недавно влюбился.

Так, хватит!

Этот номер мы начнем без вступления, потому что оно никуда не годится. Итак, апрель 2023. Опустошитель #39. Эскапизм. Да-да, именно эскапизм. Энтони Берджесс, Уильям Берроуз, на всякий случай Жан-Люк Годар, Евгений Головин под ручку с Александром Дугиным, Павел Лукьянов, Эмиль Чоран и торжественное возвращение Леша Лапшина, правда, на этот раз не в качестве автора, но персонажным телом. Эскапизм позволяет и не такое. Бегите от реальности, пока она не запихнула вас на страницы инверсивного издания.

М И К Р О

Нелли Цымбаленко
ТУЙ-ТУЙ

Туй-туй — песенка, языческое заклинание, прогоняющее злых духов.

—

Иногда ночью в комнатах бывает светло. Если в такую ночь пристально смотреть на лицо спящего человека, то хватит меньше минуты на то, чтобы оно исчезло, растворилось в пространстве.

6

Перед этим, несомненно, вы заметите, как это лицо стареет, покрывается морщинами, как у спящего выпадают зубы, как он весь каменеет, превращается в скелет и рассыпается перед глазами.

Если также пристально посмотреть на шкаф или висящую на стене картину, они не исчезнут, только, скорее, станут бесформенными пятнами, но останутся перед вами.

Вероятно, в основе этого наблюдения кроется оптическая иллюзия, но, в конечном итоге, ни один участник подобных наблюдений еще не становился исключением.

—

Для меня всегда существовали определенные ракурсы в восприятии красоты человека. Застывшее в моем сознании выражение лица, которое уже не позволит увидеть его заново.

Как правило, это некрасивое выражение или постыдное, даже унижительное, карикатурное. Я не ищу этих фрагментов мимики и ракурсов, они всегда появляются сами, иногда в веселье и радостные моменты, когда ты с ужасом понимаешь, что увидел предел чужого уродства, и теперь не сможешь посмотреть на этого человека иначе.

Конечно, иногда мне удавалось себя перебороть и прогнать это выражение, иногда мне это удавалось делать годами, но безобразное лицо возвращалось и маячило перед глазами.

Может, это декоративные злые духи, живущие в наших глазах, рассеявшиеся на ресницах, вызывающие зуд и слезы, они искривляют чужое лицо, лицо, на которое мы смотрим, лишая его гармонии и права на красоту?

—

Я просыпаюсь в своей кровати, сбрасывая одеяло, и вижу, что мои ноги посыпаны землей. Простыни безнадежно испачканы.

Я отправляюсь за свой стол, слегка улавливаю, еще издали, непонятное мельтешение возле своих книг и принадлежностей для рисования.

Маленькие чертенята вытащили мой уголь и бумагу, они рисуют. На их рисунках отвратительные рожи, отборные карикатуры, призма мизантропии. И теперь все эти лица передо мной — в трамваях, на улицах. Теперь только они.

Сами чертенята похожи на моих маленьких учеников. Нелепо вывернутые локти, выпученные глаза, головы напоминают уродливые редьки, слегка выдернутые из бесформенной школьной одежды, грязные шеи торчат из права влево, рассматривая свои карикатурные сочинения.

С их голов сыплется земля. Неужели они спали в моих ногах, или, не стоит обольщаться мыслью об их

тупом бессознательном преклонении передо мной — они пытались вытереть свою грязь о мое чистое белье.

Во время практики мной было придумано правило — они не смели меня обнимать, если я была в белом.

Я продолжаю рассматривать намалеванные рожи. Слишком много знакомых. Какая дотошная галерея. Мне нужно смеяться, это неплохой момент, земля с голов падает на бумагу, они задевают ее своими рукавами, размазывая, создавая плотные и бесформенные пятна, я качаю головой.

Уродливые редьки покачиваются над столами, их перерубило еще в земле, трактор пережевал их вместе с остальными и выплюнул наружу — генетические пляски в низших классах. Но попадаются очаровательные. Они вызывают нестерпимую жалость, так вот откуда появилась земля — мне пришлось их убаюкивать, унимать их плач. Испытывая сострадание плохой матери, я укладываю уродцев в своих ногах, они засыпают, выучивая с первого раза все мои колыбельные.

Туй-Туй

Сегодня за нами с Вадимом увязалась маленькая цыганская девочка. У меня не нашлось для этой детки мелочи. Вадим полагает, что она сочинила для нас проклятие. Цыганочка бежала рядом и улюлюкала что-то из индийских песенок, я просила ее объяснить необходимость рефренов, она задорно поясняла, значительно отстав от своих братьев и сестер, тащивших на сбит ворованные мониторы.

Вадим поспешил отметить, что центр моего родного города усеян ломбардами, равно как и песенки цыганочки напичканы рефренами.

Бесконечное мелькание золотых вывесок в сгущающихся сумерках и тоненький голосок, растворившийся в гудящем таборе, накручивающем цены.

Вывернутое наизнанку детство. Инверсия детства.

Маленькая цыганочка была пестро и изящно одета, в глазах сиял интерес к сумме, которую смогут выручить за монитор. Но и здесь сознание ребенка все же хочет невинного праздника, стороннего одобрения и участия. Может, я была бы сегодня дедом Морозом, который одаривает конфетками детей, прочитавших на утреннике по правильному стишку. Я могла бы дать мелочь за индийские песенки, не вдаваясь в подробности их корней, я даже надеюсь, что она врала мне, таких песенок нет и таких слов тоже, я не хочу чистоты и методичной правильности детского утренника и не желаю видеть тошнотворные лица детей, читающих убогие стихи, которые для них выбрали родители-идиоты.

Я хочу подчиниться грязной уличной магии, но, увы, я не потянула сегодня этот уровень — мои карманы оказались пусты.

Может, цыганочка и смогла нас наказать. По прибытии домой мы плохо себя чувствовали. У меня была легкая температура. Ее сил пока хватает на слабую простуду, что же будет дальше? Господи, дай ей сил.

—

Руссо говорил, что наша жизнь — тюрьма. Когда ты рождаешься, тебя пеленают, сковывают, обвязывают, когда ты умираешь, тебя кладут в гроб, накрывая его крышкой — ты снова скован и обездвижен.

Флоберовскую госпожу опустили в сотни гробов, в таких же гробах оказался, только по своей воле, чеховский Беликов.

Иногда я так жажду уединения, что боюсь, как бы желания не приняли крайней степени.

Это может стать тем, о чем говорил Руссо в последнюю очередь.

Но ничего — там я смогу разговаривать с шорохами, звуками, вокруг так много друзей.

Я знаю их языки.

А паразитам-подонкам я прочитаю Бодлера. Мои ребра станут местами в театре, они рассядутся по рядам. А если вдруг и случится аншлаг и мест для всех не хватит, я буду говорить, я буду читать очень громко, и все меня смогут слышать.

—

Мне стоит найти оправдание своему бездействию. Может, это проклятие, я перебираю всех знакомых и незнакомых людей, кто хотя бы внешне был похож на колдуна, но все они или просто милы или обыкновенны, то есть лишены всякой выразительности.

Вчера одна старушка попросила у меня сигарету, она хвалила меня, отмечала мою «изумительную» красоту, может, она что-то украла во мне? Что-то такое, из-за чего у меня сегодня тяжелая голова, и я снова нахожусь в бездействии? Отчего кофе сегодня кислый, и жизнь не будет прежней.

10

Я аккуратно подбираю слова, чтобы меня потом ни в чем не упрекнули или не сказали насмешливого едкого слова, которое обезоружит и сильно обидит, а у меня, как и за все последнее время, не найдется что ответить, потому что нет сил.

Они что-то крадут... Вон тот старичок слишком пристально смотрит. У него губы синие и один глаз совсем закрыт состарившимся рыхлым веком. Оно поднимается с помощью чужих рук, и старик смотрит, как Вий. Завтра утром я увижу в зеркале старика, поэтому не буду на себя смотреть.

Это обратное заклинание. Смотреть нельзя, или он выиграет у меня что-нибудь — например, пару лет или ясный взгляд.

С тура лиловые пятна под глазами. Стараюсь вспомнить, чем вчерашний день мог отличаться от предыдущего.

—

Увлеченная вечерними рассказами своей бабушки о ведьмах и колдунах, я, будучи маленьким ребенком, решаю изобрести свое колдовство.

Каждую ночь с закрытыми глазами перед зеркалом, украдкой и в уединении, я пытаюсь слепить себе новое лицо. Представляя, что мои руки трогают глину, а не кожу, я создаю себе новые черты.

Ложусь спать. Наутро, как правило, испытываю разочарование — ведь вижу прежнего человека.

Иногда мне нравится избегать свое лицо, погружаясь в него только в очень расплывчатых отражениях — тогда я все понимаю и вижу, и радуюсь.

Может быть, спустя время и обретенные силы, у меня все получится, может быть, все получится сегодня. Интересно, захочется ли мне это сделать.

—

Лицо молодого Жене

Сегодня мы познакомились с юношей, чьей настольной книгой является роман Болдуина «Комната Джованни», но я отвлеклась, грезя о молодом лице Жана Жене, и не поняла, в какой момент стало ясно, что мое притворство не обладает особым мастерством, и все собравшиеся без труда уличили меня в желании изобразить красивого молодого человека, увлеченного подобной книгой.

—

В моменты перевозбуждения и нарастающей злости в качестве контролирующего фактора можно покрываться уверенными зудящими пятнами.

Розацея — болезнь французских солдат, настигшая их после битвы.

Болезнь празднования победы.

Всему виной плохое вино, это просто пойло, оно расцветает пурпурными пятнами на обезображенных

войной лицах, словно на вспаханной земле распускаются розы.

Жан Жене говорил, что его сперма расцветает белыми розами внутри возлюбленных.

Проходя через солдатские глотки, вино выполняет такую же функцию.

А где сегодня расцветают твои сады?

Фёдор Бирюков
АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

ED IS NOT DEAD / К 80-ЛЕТИЮ ЛИМОНОВА

В юности, только закончив школу, мы с друзьями на улице Правды
Шатались с гитарой и пивом в поисках приключений.
Совсем свеж был памяти нашей девяносто третий год,
Он оставил очень яркие и взрослые впечатления.

Впереди у нас была целая жизнь, но мы думали умереть молодыми,
И с презрением смотрели на покорных людей вокруг,
Воспитывали в себе смелость, злость и гордыню,
Выбирали специально самых странных подруг.

Панки, скинхеды и металлисты, анархисты, коммунисты, фашисты,
А все вместе — поганая молодёжь, чем хуже, тем лучше!
Мы ненавидели сытых, холёных, цивильных, пушистых,
Гоняя их по задворкам столицы при каждом случае.

Волосатые и бригоголовые, в косухах и бомберах,
В тяжёлых высоких военных ботинках и камуфляжных штанах,
Мы желали участвовать в разрушении этого мира:
Смерть капитализму, чертей и буржуев нах!

И вот я примерно в таком настроении пошёл за пивом в киоск на углу.
Передо мной стоял человек — седой ёжик, очки, кожаный пиджак.
На кого он похож? — смотрю и никак не пойму...
А потом узнал: да это сам Эдуард Лимонов, никак!

Я уже читал его книги и газету «Лимонка», покупая её раз в две недели
на Театральной,
И слушал «Гражданскую оборону», а Егор Летов тогда тоже был с ним.
И вот повстречал вдруг мифического персонажа в жизни реальной,
Настал уже вечер, смеркалось, на проспекте зажглись огни...

Эдуард Вениаминович, здравствуйте!
Он покупал водку. Я протянул навстречу руку.
Лимонов сунул бутылку в карман пиджака,
Задев что-то с металлическим стуком.

Пожал руку в ответ, поправил очки.
Когда революция? — спросил я с нагловатой улыбкой.
Такими темпами... когда-нибудь будет!
Лимонов сказал это как-то зыбко...

Махнул на прощание и ушёл в московскую летнюю ночь,
Я купил пиво и вернулся к друзьям, подругам, гитаре.
И с тех пор многие из нас исчезли куда-то прочь,
Разъехались, умерли, потерялись в угаре...

А мне доводилось общаться с Лимоновым ещё много раз.
Печатался в «Лимонке», выступал с ним на митингах и концертах.
Весело и немного грустно вспоминать об этом сейчас,
Когда на столько вопросов получил прямые ответы...

Я виделся с Лимоновым незадолго до смерти
На презентации его очередной книги.
Старик был больной, но по-прежнему крепкий,
И похожий на пророка новой религии.

Эдик, Эдвард, Дед -
Ed is not dead!

ULTIMA RATIO (Последний довод)

В коррумпированном государстве
Бюрократы, менты, олигархи
Одержимы тотальной властью,
Им нужна воровская монархия.

И штампуют рулоны законов
Для парламентских туалетов,
Когда надо, меры драконовские
Принимают, как воины света.

Также есть в государстве граждане,
Их работа — платить налоги,
А ещё взятки всем и каждому,
Содержать дураков и дороги.

А когда вдруг замес случается,
Государству нужны солдаты,
И тогда воровское начальство
Патриотов играет знатных.

В этот самый момент священный
Кто не с ними, тот враг народа,
И гуляет кувалда отмщения
По тупым головам уродов.

Иногда происходят выборы
Депутатов и президента,
Удивятся им даже талибы
И взорвутся аплодисментами.

Древний Кремль превращён в притон,
Русь великая — в резервацию,
Над законом царит гегемон,
Вне закона — целая нация.

И остались одни объедки
От былой воровской демократии,
Кое-где ещё флаги советские
Прикрывают срам новой знати.

Круговая порука и ложь -
Вот и вся, так сказать, федерация.
Всё идёт, как осенний дождь,
К неизбежности Ultima Ratio.

ЗНАМЁНА ВВЫСЬ!

Когда в набат ударит тишина
И ультразвук пронзит закат навывлет,
А бездна перестанет быть страшна,
Тогда и сказка станет нашей былью.

Сегодня время зомби и шакалов,
Для власти человек — изгой и враг.
Упырь пьёт кровь из императорских бокалов,
Но сам лишь тень, у дьявола батрак.

Кровь ради денег, деньги на крови,
Империя вампиров, чёрный тлен...
И дольше века длится злая ночь,
Что всё живое захватила в плен.

И благородство нынче вне закона,
Закон же тёмн и несправедлив.
Страна живёт по правилам притона,
Где вору вор придумал царский миф.

На лжи и страхе держится престол,
Под ним больное общество гниёт,
Все маски сброшены — и это не прикол,
Повсюду ненависть и неприкрытый гнёт.

Гнёт капитала зиждется на рабстве,
Свобода воли разбивает цепи зла,
Вампиры сами не откажутся от власти,
Нам суждено их убедить дотла.

Рассветных облаков знамёна ввысь
Поднимет дух мятежный, беспокойный.
В умах свободных зародится мысль,
Что остановит вырождение и войны.

Тогда в набат ударит тишина
И ультразвук пронзит рассвет навывлет,
Пустыня перестанет быть страшна,
А сказка наконец-то станет былью.

ПОСЛАНИЕ

В день, назначенный ранее
для оглашения послания
благородному собранию,
вся империя замерла
в трепетном ожидании...

Что же скажет верховный
радикального, нового?
Не сидеть же всем равно,
уж пора стать героями,
чтоб как в сказке бы словно!

Во дворец знать приехала -
похваляясь успехами
обсуждает со смехом,
как на западе скоро
всё накроется мехом.

Вышел цезарь, выбрав момент,
быстр и собран, с иголки одет,
он на каждый вопрос даст ответ,
объяснит всё на пальцах
и отгонит мух от котлет.

А собравшийся правящий класс
трепещет в едином восторге сейчас,
не моргает ни один глаз,
задержали вельможи дыхание,
предвкушая царский наказ...

На трибуне с гербом он встал,
острым взглядом обвёл сияющий зал,
посмотрел, чтоб никто не зевал,
и выдержав долгую паузу,
металлическим тоном сказал:

«С нами бог! Мы сильны для борьбы!
И к победе летим на крыльях судьбы,
патриоты великой трубы;
если что, без проблем сразу в рай,
а враги пусть готовят гробы!

Миру мир! Пусть всегда буду я!
Так сплотимся теснее, друзья!
Мы навеки империя,
и должны сохранить нашу власть
над людьми и запасом сырья!»

Взорвалась тут элита овациями
от лица всей любящей нации!
И юнцы, и глубокие старцы
рукоплещут неистово,
доводя себя до прострации...

А снаружи живёт какой-то народ,
работает, платит налоги и ждёт...
Чего он там ждёт, на войну пусть идёт!
Так размышляли патриции,
попивая довольно пиво и мёд.

VIP-RAGNAROK

Государство в России сегодня -
это ватник на две стороны,
выворачивай наизнанку
и лови запросы страны.

На красной подкладке — швы коммунизма,
заплатки, пустые карманы;
верх бело-синий, с либерализмом
капитализм обманный.

Вруще-ворующие бюрократы
далеки от народа, как никогда,
а послушные граждане рады,
когда у властей беда.

Но сильные мира враждуют, играя,
а войны — народам урок,
народам не стоит вмешиваться
в глобальный VIP-Ragnarok.

И вновь ростовщик покрывает
расходы воров и блядей,
по сделке в ад поставляя
на бойню простых людей.

Но в каждом из нас дышит родина,
лишь в мире живёт народ;
власть прячется под камуфляжем,
когда деньги уходят под лёд.

Кровью спасают прибыли,
смерть бережёт процент,
и в патриотических закливаниях
слышен адский акцент.

Их сущность не скроют титулы,
а имя им — легион;
идут самозванцы со свитами
к дьяволу на поклон.

Власть гнили и тлена не вечна,
за ночью придёт рассвет,
народ наш расправит плечи,
дадим мы русский ответ.

И бесится вся эта нечисть,
предвидя последний час.
Не помогут ни ложь, ни время.
Мир народам! Солнце за нас!

SOZIALISTISCH, PRAKTISCH, GUT

Строй эксплуататоров труда
Обманывает по шаблону,
Система победит всегда,
Пока воспроизводит клоны.

Навязанные заблуждения
Репостит масса посмодерна,
И непрерывно каждый день
Всё повторяется на ферме.

Вы и продукты, и клиенты,
Возобновляемый ресурс,
В закабалении процентном
Поддерживаете лживый курс.

Рабы слепые капитала
Нырнули в бездну с головой,
Хохочет бес на пьедестале,
Ты тоже слышишь этот вой.

И голос внутренней свободы
Зовёт: Пора сломать систему!
Так пробуждаются народы,
И нас всё больше — тех, кто в теме.

С той стороны — кровавый молох,
Там ложь и мрак, кровешный ад.
Мы в этой тьме — рассвета сполохи,
Здесь остановится распад.

Мы — солнечные партизаны,
Как молнии среди теней,
И ценим то, что для вас странно:
Свободу, вольный труд и честь.

Против воров, лжецов, тиранов
Буйноголовые идут.
И скоро новый день настанет -
Sozialistisch, praktisch, gut!

НАША САГА

Волны лирического прилива
Бьются о каменные берега
Суровых нордических нравов,
Пока плывёт наш драккар...

В яростном хаосе шторма
Нередко теряют дар речи
Те, кто бросались словом
Обычно с утра до вечера...

А мачта скрипит и стонет,
И ветер рвёт парус на свастики,
Метафизический камертон
Настраивает струны страсти...

Ты не любишь любить напоказ,
Я пишу нашу сагу украдкой,
Руны складываются в рассказ,
Где анархия — мать порядка.

Симфония вольных просторов,
Полёты весёлых валькирий,
Философия молота Тора,
Палитра северных стилей.

Мы свидетели Гипербореи
И весёлые спутники бури,
Где-то там, на краю Арктогеи,
Нам откроется Ultima Thule.

Мы пристанем к волшебному берегу
И уйдём в тень чудесных лесов,
В мир добрых котов, отважных волков,
Дивных лисиц и загадочных сов...

...А пока плывёт наш драккар,
И волны бьются о борт,
Норны плетут нам нити судьбы,
Их прялка — солнцеворот.

ПО ТУ СТОРОНУ ВЕСНЫ

Фридриху Ницше приснился сон
о том, что Сверхчеловек — это он.
Фридрих Ницше проснулся в поту,
а потом спешно умчался по ту
сторону добра и зла,
где любовь ни добра, ни зла...
По ту сторону добра и зла,
где спеет виноград и весь год зима...

Адольфу Гитлеру приснился сон
о том, что последний человек — это он...
Адольф Гитлер проснулся в поту,
а наутро его нашли с пистолетом во рту
по ту
сторону
весны...

п р о з а

Михаил Сеньков
УЛЫБКА МАТЕРИ

Звонок я услышал не сразу — громко работал телевизор.

— Как поясняет заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лидия Воронова, шокирующие картинки явно отпугнут большинство тех, кто только собирается закурить. — вещал диктор.

Я убрал звук и поспешил в прихожую. В дверях стояла низенькая, как мне показалось, прозрачная женщина пенсионного возраста в солнцезащитных очках.

— Зина. — представилась она. — Я могу видеть Татьяну Сергеевну?

— Э-э-э. — я не мог сообразить, что ей ответить, и поэтому сказал первое, что пришло в голову. — Мама ушла в лес за черникой... ей там н-нравится. В смысле, маме.

— А-а... — разочарованно протянула она, озадачившись. — А вы не могли бы ей передать, что-о... Зина приходила и хотела ей хорошую новость о своём сыне рассказать. Э-э-э, ну, в общем, передайте, что у Алёшки всё получилось.

Уже четверть часа спустя, по-прежнему сидя перед телевизором, я вспомнил эту Зину — мама иногда рассказывала о ней.

— Настораживает одно обстоятельство: сегодня на законопроект наложили гриф «для служебного пользования». — вещал телевизор.

Снова раздался звонок. Я напрягся... я всегда делаю это на звонок в мою квартиру. Он тревожен... как набат.

— Нужно с общего балкона весь ваш мусор убрать! Мы за вами убирать не будем!

В дверях стояла пугающе рабочего вида женщина со скрученной, словно пергамент, ковровой дорожкой на плече. Мне сразу вспомнился замечательный советский фильм «Сладкая женщина» с Натальей Гундаревой в главной роли.

То была соседка по блоку.

— Весь балкон захлामीли! — всё наседала она. — Я тягаю этот ваш ящик чёрти с чем туда-сюда. Пройти по балкону невозможно! Во, все ноги в синяках!..

— Мамы сейчас нет дома. Я ей передам.

— Бермана, лично принимавшего участие в пытках, в декабре 1937 наградили орденом Ленина, в 1939 году расстреляли. — диктор сделал внушительную паузу.

Зазвонил телефон. Я не стал убавлять у телевизора громкость.

Это оказалась мамина младшая сестра из Мурманска.

— Мамы сейчас нет дома. Я ей передам.

— Передай, что я позвоню. Около девяти, н-нет, десяти. А как у тебя дела?

— Хорошо. Работаю стропальщиком на Заводе Тяжёлых Штамповок. Скоро отпущ.

Я положил трубку и прошёл в кухню. Всё оставалось без изменений. Труп мамы по-прежнему лежал на полу у распахнутого настежь окна. Без лица. Её полные ноги покрывали мешковатые шёлковые трико, розовая в крапинку блузка топорщилась на плоской груди, волосы и шея были перепачканы уже с большего успевшей свернуться кровью. Кое где уже даже образовалась крепкая чёрная корочка. Однажды мой попугай неудачно засунул голову в дверную щель. Дверь закрылась, отхватив ему львиную часть лица.

Львиную с клювом. Львиную с правым глазом. Львиная с левым — осталась на изумрудном в пёрышках теле. Львиный попугай. Лев-попугай. Попугай-лев. Эта кровь на воздушно-мариновых перьях, этот оскал, красный закатный оскал маленького летающего льва. Эта смерть смертей.

Как счастлив я, что не видел этого никогда.

Открыв холодильник, я вынул тарелку с маминым лицом. Поставил на стол. Изжелта пепельное, кажущееся резиновым, вогнутое. Оно молчало. Холодом холодильника. Молчало прорезями синюшных век, искривлённым в дыру сфинктером рта, плоским подбородком без кости и лоскутом лба. Сквозь носовые отверстия можно было разглядеть украшавшую тарелку незамысловатую заводскую роспись.

Я стал готовиться. Аккуратно, чтобы не повредить упаковку, насадил вилкой кусок свиного жира. Размазал его по быстро накалившейся сковородке. Сладковатая вонь и скворчание стремительно наполняли тесное пространство нашей с мамой кухоньки. Я движениями пахаря рассредоточил жир по сковороде.

Воспоминание о Милле возбудило меня...

Дождавшись, когда жир растопится, положил туда мамино лицо. То тут же зашевелилось, словно бы его затолкали сразу тысячи пальчиков, и заволновалось. Помнится, очень давно, мне ещё и десяти не было, мы всё лето жили с мамой в Феодосии. У неё были прекрасные каштановые волосы и апельсинового цвета платье. Меня тогда интересовали две вещи: ракушки и чайки. А ещё крепость на горе. Помню, всё помню, каждую чайку, каждую ракушку, каждую песчинку с того необратимого пляжа... Как вываривались эти самые ракушки, воняя на всю кухню. Как злилась хозяйка...

Лицо приподнялось в своём центре. Я придержал его вилкой. Аутовосторг захватил меня.

Я возбудился на Альберта Уотсона...

Уже заметно стемнело, и я вынужден был включить свет. Я сделал это, не отходя от сковороды. Просто.

Протянув. Руку. При искусственном освещении мамино лицо показалось мне старше своих лет: незаметные ещё вчера рытвины морщин — от правой брови к левой, на седле носа, вдоль височной линии, между подбородочных бугров; редкие выцветшие брови, заметно прожарившиеся губы и глазные щели, пушок на щеках, выжженные перекисью усики...

Я надавил вилкой маме на лоб: тот как-то противостоительно вздулся, словно бы яичный белок, тот самый белок, который набухал на этой кухне много лет назад, когда я школьником чистил в ванной комнате зубки. «Миша, умывайся быстрее, яичница остынет!» — кричала тогда мама. И я испугался, что лоб может лопнуть. Как тот школьный белок. Шкварг-чвоск!

«Миша, умывайся быстрее...»

Сейчас мы вымоем ушки, вымоем носик... А чей это такой носик?..

Хи-хи-хи

А чьи это такие ушки?.. Вымоем сейчас эти ушки...

Хи-хи

Эти пальчики и пупок

Я помню и люблю. А также знаю и понимаю. Каждую песчинку, каждую чайку... Я способен к анализу. Моё сознание огромно, как Космос.

«Чьи это такие ручки, чьи пальчики?..»

— Мои, мама.

Мама у меня хорошая с широким и большим лбом.

Постепенно жир стал выпариваться, лицо расправляться по сковороде и, пригорая, усыхать.

Я взялся отсчитывать секунды:

8 секунд: лобная мышца прожарилась и смешно сморщила лобик.

— Лобик моей мамы.

10 секунд: прожарились круговые мышцы глаз, самые жёсткие — мама забавно сощурилась.

— Моя мама.

16 секунд: одновременно носовая и сморщивающая брови мышцы поджарились, и носик моей мамы сделался на сорок пять лет моложе.

— Мамин носик.

Со сковороды повалила едкая угарная копоть. У меня проступили слёзы.

К 40-вой секунде у мамы подёрнулись уголки рта, так, чуть-чуть, еле уловимо, так играетя малёк в дождь, затем нервно вздрогнула и вывернулась верхняя губа, щёки запеклись и обострились. Моя мама... улыбалась. В чаду улыбалась, в угаре! Улыбалась в последний раз. Улыбалась так, как улыбалась только мне и только до шести лет. Слёзы брызнули у меня из глаз. В дыму мне примерещилось, что это не я склонился над сковородкой с маминым лицом, а мама склонилась над моей колыбелью и бесконечно лучезарно улыбается мне, только мне, своей неповторимой улыбкой...

Вадим Климов
**СТАРУХИ
ЛИЦЕМЕРНЫЙ ВОДЕВИЛЬ
В 15 ПЛЕВКАХ**

[1]

Как-то Леша Лапшин спросил меня, как я отношусь к голодающим в Москве старухам. Мы тогда жили с ним в солнечной Одессе и о голоде знали лишь из анекдотов про Россию.

— Каким еще старухам? — уточнил я.

— Обычным столичным старухам, — сказал Лапшин. — Нам с тобой нужно поехать туда и накормить их.

От неожиданности я слегка подпрыгнул и спросил:

— Чем же мы их накормим?

Друг принял заговорщический вид.

— На Красной площади есть киоск с мясом, которое уже долго обветривается на витрине, но никто его не покупает. Мы похитим это мясо и скормим московским старухам.

— Гениально! — воскликнул я и бросился другу на шею.

— Знаю, что гениально, — согласился он и поцеловал меня, словно любимого брата.

Уже через пару часов мы тряслись с Лехой в электричке «Одесса-Зеленоград», курили в темном закутке на сцепке вагонов, стреляя бычки у спящих торговцев мороженым.

[2]

Одна из старух, херсонская хрычовка Поли-Кулли, продающая пиво-мороженое-орешки, зашла в наш закуток и так в нем и осталась.

— Пиво, орешки? — спросила она, прижав нас к стенке.

Мы с Лешей замотали головами.

— Тогда мороженое?

Мы одновременно воскликнули:

— Нет!

Но Поли-Кулли все равно достала 250-граммовый брикет «Семейного» и, развернув, начала есть.

— Вот вы смотрите на меня, как на руины, а на самом деле я еще ничего. Конечно, я катаю по вагонам тележку с пивом для сельских дегенератов, но сама я думаю об ином.

После этих слов бабуля хлопнула Лапшина по носу. И немедленно продолжила:

— Вам никогда не приходила в голову абсурдность выражения «замкнутый круг»? Круг ведь — двухмерная фигура, к ней неприменимо данное понятие. В отличие от окружности. А треугольник? Что это вообще такое? Три отрезка с общими вершинами или еще и пространство между ними? Как бы то ни было, никто не говорит замкнутый треугольник или незамкнутый. А я предлагаю вам образовать именно треугольник. Знаю, вы едете в Москву кормить старух, но вдвоем вам не справиться. Возьмите меня с моими орешками и вообще. Вам нужна девушка?

— Не такая уж вы и девушка, — пробурчал Алексей.

— Зануда, — Поли обернулась ко мне. — Я хочу замкнуть ваш треугольник.

— Нет у нас никакого треугольника, — воскликнул Лапшин. — Милицию в тамбур!

Старуха схватила его за ребро.

— Тихо, милый. С этого момента мы едем на Красную площадь вместе.

Мой друг устало выдохнул. Я же достал из старой кошелки эскимо и в знак согласия надкусил.

Мы уже подъезжали к Зеленограду.

[3]

Вдруг кого-то из нас начало тошнить.

Вы когда-нибудь ездили в сцепке вагонов? Там невозможно определить, кого именно тошнит. Может быть, это был философ Алексей Лапшин, а возможно и старушонка Поли-Кулли. Да и я, впрочем, тоже мог бы блевать, воспользовавшись всеобщей неразберихой.

Словом, кто-то блевал, но понять кто именно не было никакой возможности. Блевали анонимно. А ведь мы уже подъезжали к Зеленограду, и знаменитый режиссер Георгий Тоидзе бежал по перрону, раздувая пузырь жвачки.

Поли на всякий случай швырнула в него банку пива, но Гоша ловко увернулся, еще и показав нам пятую точку, которая заросла у него, словно джунгли.

— Мудак какой-то, — резюмировал Алексей.

— Он не мудак, — парировала Поли. — Нет.

Старушонка стала поглаживать моего друга по животу, а потом пощекотала его подбородок.

— Это коллекционер фекалий, — пояснила мороженщица. — Гоша снимает клипы, а в промежутках выискивает кладбища экскрементов, которые делает коллекционными и выставляет на продажу. Хотите взглянуть на его коллекцию?

Мы с Лешей переглянулись, и тут я наконец увидел, что это именно он блюет. Причем самым беззастенчивым образом. Честно признаюсь, меня это зрелище настолько оттолкнуло, что я не пожелал солидаризироваться с товарищем и выпрыгнул на перрон.

Наконец-то мы прибыли в Зеленоград. А значит и в Москву... на Красную площадь... к киоску, где лежит мясо ненакормленной старухи.

— Привет, Гоша, — крикнул я в запале.

И коллекционер Тоидзе гривуазно снял шляпу.

[4]

Сказать, что первым делом мы встретили в Зеленограде Веру Мячек, значит не сказать ничего. Мячек была по-осеннему пушиста и обаятельна. Она лучилась нежным подмосковным солнцем и еще... да, да, еще она была чуть-чуть пьяна.

— Друзья, — закричала Вера, схватив нас всех за руки, — дорога на вокзал пролетела незаметно, потому что я пила коньяк. Но каково же было мое удивление, когда он закончился, и я поняла, что это был далеко не Hennessy.

Мячек едва сдержала блевоту.

— Что же тогда это было? — воскликнул Леша Лапшин, откупоривая бутылку бормотухи.

— Алексей, — режиссер Тоидзе положил руку на руку философа. — Давайте сегодня без этой зеленой дряни.

Беззубая клуша Поли-Кулли задрала ногу и поставила ее на голову Тоидзе.

— Я запрещаю вам что-либо запрещать!

Режиссеру рекламных роликов пришлось подчиниться. Тем более Мячек уже вынула из рюкзака бутылку алкогольного сиропа, от одного цвета которого бросало в краску.

— Ай! — вскрикнул Тоидзе.

— Ай! — вскрикнула Поли.

— Ай-ай! — вскрикнул я.

— Ой! — вскрикнул Алексей и показал всем пятнистый язык.

— Вот те и философ, — изумилась Поли-Кулли.

А Вера, воспользовавшись моментом, исполнила гимн виртуального государства NSK.

[5]

— Бить в морду — легко и приятно, — сказал Алексей, потирая руки. — Морда у человека — самое привлекательное, манящее место. Так же легко поразить

приятеля в пах, но он издает настолько мерзкий склизкий звук, что я стараюсь так не поступать. Пинаю исключительно в рыло.

И ударил коллекционера Гошу Тоидзе прямо в рыло.

— Ррраз! — воскликнула Поли-Кулли.

Голова Тоидзе треснула, хлюпнула и разошлась на две половины. Из щели показалась влажная черная палка, которая все тянулась и тянулась, пока из коллекционера не вылез целый муравьед.

Он сбросил с себя Георгия Тоидзе, словно грязное платье, и предстал перед нами, ошарашенными и как будто слегка нетрезвыми. Лапшин удовлетворенно улыбнулся и философски заметил:

— Поскреби любого коллекционера фекалий и найдешь муравьеда.

Мячек засмеялась, я захихикал, а Поли-Кулли закашлялась. Самое время было выпить за неожиданную находку. Все подняли бокалы и влили в себя бормотуху.

Зеленая отравка устремилась по лабиринтам пищевода, а мы уже готовились делить шкуру неубитого, еще живого Тоидзе.

— Эх, Гоша, Гоша! — Поли занесла над ним разделочный нож для рыбы.

[6]

Прямо на зеленоградском перроне мы присели у шкуры обескураженного Гоши Тоидзе и завели странный разговор. Речь зашла о матери одной из наших подруг.

— Меня поразил, — сказал я, — ее совет, данный нам за столом. Помните, мы тогда отмечали день рождения ее дочери и пили вино из пакетов? Так вот, когда пакет закончился, мамаша, святая простота, разорвала его и показала, что, если сложить картон определенным образом, можно нацедить еще немного жидкости. И проделала это у нас на глазах.

— С ума сойти! — воскликнул Леша Лапшин.

— Вот ведь бывают матери, — сказала Поли-Кулли.

— Мамаша эта знаменита своим диким пьянством, продолжавшимся несколько лет, пока она была влюблена в одного знаменитого математика, секретаршей которого ей довелось работать. Душераздирающая любовь споила ее до безобразного состояния. Уже молодая, в общем-то, женщина являлась на работу в пальто на голое тело и ворчала, что никто ее не любит. Напивалась до беспамятства. А потом неожиданно бросила.

— Любовь прошла, — заключила Вера.

— Важна не любовь, а только пьянство. Женщина завязала и больше к алкоголю не притрагивалась. Однако на дне рождения дочери обнажила свои познания. Оказывается, можно немного нацедить, если уметь как. Но насколько глупо так подставляться. Никто и не вспоминал бы про ее пьянство, но она сама взяла и все продемонстрировала.

— Но ведь в этом... — начал было Лапшин.

— Да, — продолжил муравьед, — в этом ведь и состоит литературный гений. Говорить о вещах постыдных. О том, что не принято в приличном обществе. Например, о геморрое. Вы никогда не замечали, что шутки про жопу — самые смешные? Однако стоит упомянуть в разговоре свой пердак, как вас заподозрят в гомосексуализме. Меня, например, постоянно подозревают.

— Даже несмотря на ваш тощий зад? — осведомилась Поли.

— Да, — подтвердил муравьед. — И это при том, что я так и не стал писателем. А сколько стало? Вдумайтесь в эту цифру, и вам станет не по себе. У меня начиналик алкоголик. Засыпает пьяный за рулем. Получается, он тоже писатель? Или просто дегенерат?

— Да заткнитесь вы наконец, — закрычал Гоша.

После чего был немедленно расчленен занесенным ножом для разделки рыбы.

[7]

— Итак, Гоша расчленен... А нам неплохо бы прогуляться по Зеленограду. Или куда мы там приехали?

Все посмотрели на Поли, как на последнюю идиотку.

— А ведь дурында права, — сказал наконец муравьед. — Давайте прошвырнемся.

— Однако, — заметила Вера Мячек, — нам неходим не Зеленоград, не сюда мы ехали, а Красная площадь, Red Square, как сказал бы Малевич.

— Да заткнитесь вы наконец, — снова закричал Гоша, уже расчлененный.

— Неплохо бы, действительно, заткнуться, — согласился Лапшин.

— Вот и затыкайтесь, — парировала Поли-Кулли. — А мы сейчас же начнем искать Красную площадь.

— На что это вы намекаете? — встрепенулся муравьед.

— Не волнуйтесь — не на ваш пердак.

У муравьеда словно от сердца отлегло. Он улыбнулся, успокоился и сделал такое движение — литература не способна его передать — короче, он сделал так. Как-то так, да.

И Поли потянулась к ножу для разделки рыбы.

— Заткнитесь, ублюдки.

[8]

— Какие же вы все старые, — изумился Борис Мерсон, некстати оказавшийся на перроне.

— Я не так уж и стара, — сказала Вера Мячек.

— И я тоже, — присоединилась Поли-Кулли.

— И еще я, — добавил Леша Лапшин.

Меерсон лучше вгляделся в их лица.

— Вообще-то, — сказал он, — я собирался рассказать о библиотеке Вадима Климова. Кто-нибудь о ней знает? То-то и оно. Считаете свои бородавки — вот и считайте. А библиотека...

Меерсон, прямо у нас на глазах, соблазнил какую-то школьницу, вернувшуюся из Москвы.

— Удивительно, насколько богата эта библиотека. В ней есть абсолютно все. И одновременно нет ничего лишнего. Если вы хватитесь за это лишнее, вас пошлют на три буквы. И правильно сделают. Потому что здесь нет ничего такого...

— А ты, Меерсон, — сказал Лапшин, — мог бы трахнуть старуху?

— Тебя что ли? — уточнила Поли.

— Ах ты коромысло! — Леша прыгнул на девушку и начал мять ее своими ногами.

А Меерсон меж тем продолжал:

— Библиотека Вадима Климова, возможно, лучшее, что этот навозник оставит после себя. Лично я готов променять свой подвиг и раствориться в его библиотеке, как бы глупо это ни звучало.

— А ты, Меерсон, знаешь, в каком году умер Ленин? — воспалился Лапшин.

Борис взглянул на меня. В его взгляде сквозило какое-то недомыслие. Лапшин попал в самую точку. Меерсон не знал. Он только грезил. Не Лениным, конечно же, но...

Но чем-то еще!

[9]

— А чем, собственно, вам неприятны старухи? — спросил муравьед.

— Неприятны не сами старухи, а моложавые бляди, маскирующиеся под девушек.

— Какое глубокомысленное наблюдение, — заметила Поли.

— Вот именно, — согласился Лапшин.

— Если вы намекаете на мой идиотизм, то я напомню вам слова Данте: «Я знаю, что ничего я не знаю».

— Вообще-то это сказал Аристотель, — вмешался Лапшин.

— Или, более точно, Платон, — добавила Вера Мячек.

— Как же вы остоебенили своим неймингом, — воскликнул муравьед.

И все — такого никогда раньше не случилось — оказались с ним согласны. Как же, действительно... Как же...

А шкура неубитого Тоидзе за это время преобразилась, научилась пользоваться ложкой и вилкой и эмигрировала в Грузию. В самое пекло цивилизационного развития.

— Туда ему и дорога, — воскликнул муравьед.

[10]

— Что ж, Гоша Тоидзе убрался, — пропел муравьед, — а это значит, что мы можем наконец...

Его, нелепо танцующее животное на безвольных задних лапах, оборвал учитель Меерсон:

— Друзья... — обратился он ко всем нам.

— Какие мы тебе друзья, извращенец?! — воскликнула Поли-Кулли. — Вспомни, как ты трахал бедных детей!

Борис Маркович потупил взор:

— Но ведь еще Монтерлан писал, что предпочитает сжимать в объятиях бесчувственное бревно, нежели женщину, которая испытывает больше наслаждения, чем он.

— Меерсон прав! — поддержал учителя Лапшин (историк поддержал историка). — Я и сам провел несколько буквально адских ночей с разными блудливыми потаскухами. Лучше уж бревно.

— Или ребенок, — подтвердил Меерсон.

— Горите вы все в аду, мрази! — не выдержала Поли.

— В аду уже ждут черти, что пожелают этих грешников без всякого на то их желания, — вставил муравьед. — Невозможно, чтобы такой любитель пыток как наш бог, не подумал об этом заблаговременно.

- Bravo! — воскликнула Вера Мячек.
- Bravo-браво! — присоединились оба историка.
- Bravo! — провозгласил я.
- Bravo! — сокрушенно согласилась Поли-Кулли.

Муравьед снова поднялся на безвольные задние лапы и поклонился спутникам. Всем, кроме коллекционера Тоидзе, шкура которого, как уже было сказано, эмигрировала в Грузию.

Внезапно Алексей Лапшин остановился и, обведя всех взглядом, громогласно заявил:

- Вы только посмотрите!
- Пока мы с вами трепались!
- Обо всякой чепухе!
- Мы ушли не только с перрона!
- Но и из Зеленограда!
- И теперь находимся не просто в Москве!
- Но в самом ее центре!
- Мы на Красной площади!
- Куда и стремились!
- Кормить старух!

Историк был абсолютно прав. С раскрытыми ртами мы стояли у самого мавзолея, освещенные кроваво-красной вывеской «ЛЕНИН». Лица наши мерцали из-за пары перегоревших лампочек в букве «Е».

— Вот мы и на месте! — объявил Лапшин. — Это тот самый киоск с мясом!

[11]

Ленин работал лектором на Красной площади. Днем он лежал, выставленный на всеобщее обозрение, в мавзолее, а на ночь уходил в свою квартиру в подсобных помещениях Кремля.

Преподавание давалось Владимиру Ильичу совсем легко — всего-то и нужно было весь день лежать себе молча, скорее ощущая, нежели наблюдая, как рядом проходят вереницы студентов, вслушивающихся в каждую твою мысль.

Мыслить следовало аккуратно.

Ленин лежал, покрытый полотном красного цвета, доходившим ему до груди. Серовато-восковое лицо Владимира, сморщенное и страшно опавшее, было под стеклом. Ему удалили все внутренности, а мозг отправили в Институт мозга, где его расчленили на двадцать тысяч микроскопических кусочков и подвергли научным исследованиям. Когда-то Ленин выглядел спокойным, теперь же он казался мрачным и недовольным, как будто его мучило чувство вины.

Но не было никакого чувства вины. Владимиру Ильичу нравилось преподавать, тем более в самом сердце империи — на Красной площади. Словно ярким одеялом, он укрывался ею, все глубже зарываясь в свой новый статус мертвого профессора.

Иногда Ленин вспоминал, как однажды ночью его супруга, устав от постоянного дежурства у постели умирающей матери, ушла спать, попросив Ленина разбудить ее, если она понадобится матери. Ленин остался работать. В ту ночь старуха околела. На утро Крупская застала мать уже мертвой. Она потребовала от мужа объяснений, почему тот ее не разбудил.

— Ты просила разбудить, если ты понадобишься матери, — ответил Ленин. — Она умерла: ты ей не понадобилась.

Лежа под стеклом, Владимир слегка улыбался. И никто, решительно ни один студент, не обращал на улыбку Ленина никакого внимания, так заняты они были его мыслями. Мыслями мертвого профессора. Или мертвого коммунизма.

[12]

Ленин так долго лежит в мавзолее, что кажется, все миазмы времени впитались в его естество. Даже с выпущенными кишками и вынутым мозгом он абсорбирует повседневность, которая липнет к революционеру, оставляя мерзкий желтоватый налет.

— Владимир Ильич, — шепчет Надежда Крупская, — сходите помойтесь, от вас уже пахнет...

Ленин отправляется в ванную. В его квартире она, слава богу, есть. И ванна уже наполнена горячей водой.

Владимир ложится в воду, не снимая одежды, прямо так, чтобы смыть налет повседневности. Но как же он продрог на этом сквозняке. Не мавзолей, а холодная степь.

Сколько раз он просил выдать ему пальто или что-нибудь вроде этого, но все тщетно — на Ленине всегда только легкий пиджачок, да фляжка коньяка во внутреннем кармане.

Владимир Ильич лежит в горячей воде и читает биографию Сталина. Это Надежда Константиновна сунула ему в другой карман пиджака, чтобы супруг читал, а не пьянствовал. Вот он и вникает в судьбу своего преемника, взявшегося приготовить яичницу из разбитых Лениным яиц.

Крупская шифрует письмо ревкому, и вдруг ее слуха достигает чей-то храп. Это спит Владимир Ильич, измученный сквозняками мавзолея. Крупская осторожно приоткрывает дверь в ванную и ее взору открывается потрясающая картина.

Ее мужа настолько захватила книга, что, уснув, он и сам превращается в Сталина. Лысина прорастает густой шевелюрой, поверх рта выскакивают огромные усы, над глазами — брови. Да и сами глаза из крошечных свиных щелок превращаются...

Да что там глаза, пальцы Надежды Константиновны сами собой разжимаются, сбрасывая ненавистные шифры, и тянутся к усам тирана. К его бровям.

К бровям и усам спящего сатрапа.

И его великолепной шевелюре.

[13]

Мысли Иосифа Сталина сложны и многомерны. Он размышляет о диспозиции сил в секретариате партии. Какое положение он занимает...

Бутылка красного сухого-пресухого вина запрятана за его ложем. Киндзмараули... Он отхлебывает, пока в мавзолее нет никого, кроме него. И тут же вбегает его глупая жена, доставшаяся от Ленина. Надежда Константиновна. Она хватается бутылку и кричит, что это невыносимо. Что так нельзя... Хватит пить!.. Иначе она за себя не ручается...

Иосиф шевелит усами. В принципе, он уже достаточно пьян, поэтому лишний глоток погоды не испортит, но важно ведь не это... Хотя ладно, думает узурпатор, пусть уносит бутылку.

По физиономии Крупской прокатывается улыбка, она представляет, как выльет виноградную гадость в сортир. И Сталину не достанется ни капли. Отрада старой большевички.

Надежда Константиновна выбегает из мавзолея и несется к туалету. По дороге она едва не сбивает с ног Леву Троцкого, к тому моменту еще не изъятого из Кремля.

— Куда вы, Крупская? — интересуется он.

— В сортир, — кричит большевичка.

А Иосиф тем временем выуживает из-за ложа еще одну бутылку. Недалекая Крупская изъяла одну, не догадавшись о другой. Сталин всегда так делал — удваивал стратегию.

Глоток Киндзмараули восхитителен. Вино следует пить только из названия. Которое уже пьянит. Колобродит в пищеводе, дразня языком из ануса. Ах! Как вкусно!

Но внезапно Сталин обнаруживает себя не в мавзолее, а на стадионе. На матче Spartak-Томь. Причем он — главный тренер Спартака.

Не это ли восторг, черт бы вас побрал?

[14]

— Черт! — воскликнул Алексей Лапшин. — Как мы отвлеклись.

Поли-Кулли восторженно посмотрела на него.

— Эти старые большевики не дали нам накормить старух, — сказала она.

— Зато мы хотя бы прикроем Ленина шкуркой Тоидзе, — вмешалась Вера Мячек.

И правда: Ленин совсем продрог, лежа в мавзолее. Это никакой не Сталин с вереницей бутылок Киндзмараули, нет, Ленин не таков.

Муравьед достал сложенную шкурку Гоши Тоидзе, развернул и накрыл ею Ленина, который едва заметно улыбнулся, одобрительно посапывая.

— Но когда мы будем кормить старух, ради которых притащились из самой Одессы? — воскликнул Леша Лапшин.

— Никогда, — отрезал я. — Мы поступим хитрее. Кормежка убогих — удел убогих. А мы просто опубликуем рецепт, которым сможет воспользоваться любой желающий.

— Когда? — заорал Лапшин.

— Когда? — заорал муравьед.

— Когда? — заорала Вера Мячек.

— Когда? — заорала Поли-Кулли.

Их вопли разбудили спящего в тепле Ленина, который, слегка приподнявшись, тоже закричал:

— Когда же, вашу мать?

— В следующей, последней, главе, — спокойно сказал я.

[15]

Кулинарные курсы: Старуха в требухе

Для нашего кулинарного изыска вам понадобятся:

1. старуха — 1 экземпляр,
2. соль и прочие специи — по вкусу,
3. чеснок — 3 зубчика,
4. немного воды.

Если все это есть, то можно приступать.

Возьмите одну старуху. После Нового года она должна хорошо проспиртоваться и быть готова к употреблению. Удобно навестить старуху утром первого января, пока она спит лицом в пол, окруженная армией пустых бутылок. Возможно, старуха сходила под себя. Так даже лучше: гадость не попадет в рождественское блюдо.

Аккуратно разденьте старуху и поместите в мультиварку. Придавите чем-нибудь тяжелым, например, коленом, чтобы требуха вышла из старухи через естественные отверстия. Полейте все это остатками алкоголя из катающихся бутылок.

Посыпьте солью и прочими специями. Суньте по зубчику в старушечьи подмышки. А третий зубчик засуньте... сами знаете куда. Самое главное! Перед помещением старухи в мультиварку ее, старуху, нужно хорошо промыть. До прозрачной воды. Но если вы этого не сделали, достаточно дезинфекции алкоголем.

Итак, все готово к выпеканию. Закройте мультиварку крышкой, переведите клапан в положение закрыто. Нажмите кнопку «Тушение/Плов». Время готовки — на ваше усмотрение. Чтобы процесс ожидания был не слишком скучным, можно разбудить старуху.

Не беда, если она выберется из мультиварки раньше окончания программы. Блюдо пригодно к употреблению даже в этом случае. Вежливо проводите старуху к праздничному столу и приступайте.

Не бойтесь экспериментировать. Удивляйте своих друзей и родителей.

Приятного аппетита. Старуха в собственной требухе готова.

КОНЕЦ

Дмитрий Колейчик
КОМНАТА И КНОПКА

Пролог

Утром следующего дня некий человек взял оружие и пошёл в детский сад. Там он расстрелял няnek, детей, горшки и цветные нелепые картинки на стенах. Позже он сказал бы, что его заставили сделать это.

Сказал бы, но кому? Умелый снайпер вышиб ему мозги.

А теперь вообразите, что это вы. Что вы это делаете каждый день, каждую ночь, каждое утро вам плохо. Но потом вы встряхиваетесь и понимаете, что невиновны. То ли вам всё приснилось, то ли пригрезилось. И вы пытаетесь потом быть лучшей версией себя. Что-бы как-то замести грехи, которых на вас нет. Или есть? Впрочем, в любом случае вы умираете. Ведь вы умираете?

Признания юного богоубийцы

Бог нужен, потому что нужен враг. Неприятно сознавать, что некая сила ради собственных целей бросила тебя в мир, и создала весь этот мир — отвратительный, построенный на лжи, насилии и боли. А потом цинично скрыла отвратность от глаз разума так, что его жертвы, вплотную сталкиваясь с ней, не видят её, не чувят запаха, не осознают. Но совсем невыносимо думать, что всё это случилось само собой, и никто к этому не причастен, и некого за это ненавидеть, некому мстить. Если бы Бога не было, пришлось бы его придумать.

Когда-то я убедился, что Бог есть. Очень скоро я понял, что он недружественен, что он — истинный враг всего живого, и в первую очередь — людей. В

конце концов, он — *мой* заклятый враг! С тех пор я стал с ним бороться, как мог. Я стал отвергать его и славить его противников — антигероев, антагонистов, антихристов. Мне нужна была эта ненависть, чтобы не забыть. Не забыть, что я увидел отвратную, склизкую... у-у-у! — что она существует. И она — прежде всего. Как истинная субстанция, или матрица, этого мира. Та самая брана, на которую нанесена вся одуряющая голограмма реальности, времени и пространства. Парит в... (нигде) огромным скатом, плавно лениво шевелится. Иногда по ней пробегают судороги. Иногда пробегают по ней — как под электротоком! Кто-то умер, и оно съело...

Позже я забыл, почему так уверен в существовании Бога, забыл, какие страшные опыты меня привели к этому знанию. И знание превратилось в веру. Лишённая внутренностей болванка. Тикает безупречно — как часы.

Думаю, такое уже происходило много раз с целыми народами, расами, межпланетными видами — многожды прежде, чем случится со мной. Но это не страшно. Мне достаточно и веры. И моих снов. И моих, несомненно, искажённых, клонированных с погрешностями ощущений и откровений. Моих невидимых друзей и неслышимых голосов. Они явились, потому что я исполнил все необходимые ритуалы. Веры мне достаточно.

Да будет так.

*

Что-то мерзкое живёт рядом со мной. Оно живёт больше, чем я. По сравнению с ним, я не живу даже.

*

В кармане купленного в секунд-хенде чёрного пиджака на шесть пуговиц — чтобы можно было застегнуться наглухо — я нашёл чей-то указательный палец. Кожа на подушечке была задубевшая, как ноготь

старого человека, который всю жизнь зарабатывал тяжёлым физическим трудом.

Комната и кнопка

Вообразите некую вечную камеру, куда приводит одинокую душу архонт-тюремщик. Архонт — тёмный бог, или его помощник. А может, и тот, кого вы принимали за ангела-хранителя?

Камера — тесное помещение с бетонными стенами. Стены одеты в неровную бородавчатую шубу густой штукатурки. Специально, чтобы трудно было на них что-нибудь нацарапать — оставить какое-то послание. Эти стены отторгают узника. Они не принимают жалоб, исповедей, и даже на тактильном уровне отторгают — к ним неприятно прислоняться.

Что остаётся узнику в таких условиях? Только забиться в угол и сотрясаться. Тюремщик знает, что каждое сотрясение — это шаг в жизни, поступок, потеря, прибыль, или убыль. Узник повторяет свою жизнь. Он только приступил. Но он будет *это* производить настолько долго, что потеряется. Производить свою историю, пока в ней не останется смысла — только голые факты. Тюремщик знает, что узник не плачет — он сотрясается в рыданиях без слёз. Все сновидения превратились в спазмы.

50

Или пусть это будет даже не камера, а будет — комната, или дом. Что важно для такого помещения? Лишь отсутствие уюта гарантирует испытание. Вообразите себе в меру ограниченное, лишённое уюта пространство, в котором вы заключены. Вы можете позволить себе диван, или телевизор... Но не всё сразу.

Если это дом, то там много комнат. Но все они однотипны, там нет вещей, кроме пепельниц и сломанных барных стульев. Вы постоянно бегаеете из комнаты в комнату, пытаясь закрыть за собой двери, чтобы не впустить нечто, что гонится за вами. Но ваши старания напрасны. Кажется, оно уже вас настигло.

Давайте же для простоты изложения остановимся на камере. Или комнате? В этом помещении не должно быть *слишком* неудобно. Оно не должно само по себе стать проблемой для узника и отвлечь его внимание. Поэтому давайте остановимся на том, что это очень хорошая камера, или плохая комната. Внутри стоит диван. Он мягкий, он новый, и его новизна отпугивает. С первого взгляда понятно, что его только что привезли из мебельного салона и он казённый, чужой тому, кто попытается на нём примоститься. Своей новизной он свидетельствует: «Я здесь только потому, что ты здесь. А ты здесь надолго, основательно, иначе и меня бы здесь не стояло».

Там ещё телевизор — монитор, тёмный, скользкий. Когда вы смотрите в него углублённо, или на него бросаете поверхностный взгляд, или сбоку пытаетесь подловить момент, когда монитор выключенного ТВ-зеркала снизойдёт ответить вам поощряющим взглядом... О, нет! Этого не происходит. Он слишком глубокий, холоден и пуст. И его отражающая поверхность скользкая, как намазанный жиром лёд. Ваш взгляд поскальзывается при каждой попытке опереться на эту тёмную плоскость. Ваш взгляд куда-то скользит, пока не вываливается за границу монитора, и тогда вы яростно трёте глаза. Щиплет. Они вывихнуты. Они смотрят не в ту сторону. Может, они смотрят в обратную сторону? Может, они вывихнуты? Кто-то снимает вашу голову с плеч, но глаза остаются. Словно висят в воздухе над обезглавленными плечами. Что видят глаза? Вы видите распятое тело? Расчленённое тело? Ваше давно истлевшее невесомое тело на новом, без единой царапины, диване и мониторе? На ТВ-зеркале ваше расплывчатое тёмное отражение... Вы видите?

Этот вопрос, этот вопрос... Гремит многократным эхом и приводит вас в чувство. Допустим, почти всё вам померещилось. Сейчас совсем другое. В камеру, или комнату, или даже дом, если угодно, — но дальше мы будем пользоваться словом «комната»... Вас пихают туда, и вы без понятия — почему. Почему?

Мы выбрали слово «комната» как нечто среднее между шокирующим «камера» и слишком вольготным «дом».

Некий архонт вводит вас в комнату и сообщает:

— Здесь ты будешь вечно. Взгляни на тот пьедестал. Там кнопка. Одним нажатием ты можешь отменить весь мир. В любой момент ты можешь это сделать, и твои страдания закончатся. Всё исчезнет. И ты тоже. И перестанешь производить бесконечно безвкусную уже жизнь, обглаживать её голые костифакты.

Здесь... можно было бы добавить ужаса, если заставить архонта уйти после этих слов. Это значило бы — открытые карты общего прикупа на столе при игре в Техасский Холдем. Саспенс. Но мы раскроем карты. Архонт объясняет ваше положение дальше:

— Сейчас я уйду и ты останешься в одиночестве. Никогда никто сюда не войдёт, никто не заговорит с той стороны дверей. Не постучит в стену. Здесь никогда ничего не изменится. Прощай! С этими словами архонт исчезает, словно и не было его, а дверь железная комнаты... Просто железная дверь, закрытая. Не пробиться, не достучаться. Всё.

Нет тревоги, томительного ожидания развязки и скудного тепла надежды. Всё сказали предельно ясно. Вот — твоя комната, ты в ней, и пьедестал с кнопкой. Диван и темное прямоугольное око телевизора — иллюзия по желанию. Можно было выбрать плеистейшен, но без телевизора. Или без дивана.

Вообразите: что бы вы сделали? Нажали бы на кнопку через тысячу лет?

Сначала вы сопротивляетесь такой абсурдной ситуации. Вы бьёте о железную дверь, разбиваете о железо свои руки и ноги. Вы ломаете себе запястья и колени. Лежите на полу, испытывая невероятную боль, но никто не приходит вам на помощь. Вы не можете в

это поверить — ведь так не должно быть! — заключённых никто не оставляет умирать!

Но вы не умираете. Проходит месяц (или век), пока вы лежите на полу и электрически содрогаетесь. Потом проходит второй. За это время восстанавливаются ваши суставы. Причём они стали лучше, чем были. Если раньше вы чувствовали какую-то неловкость при быстром неуклюжем движении, слышали хруст иногда, то сейчас всё работает как часы. У вас превосходное здоровье — вы даже не ощущаете своего тела. У вас воистину тело без органов! Прекрасный подарок! Отличное самочувствие!

Часы — то, чего бы вам никогда не позволили пронести в эту комнату. И только — из соображений милосердия. Часы бы вас отвлекали. И крали бы ваши годы, а то и десятилетия, зоны, кальпы... Ваше испытание должно быть чистым.

Вы слоняетесь по комнате. Решаете поменять телевизор на стол (телек всё равно ничего не показывает, там же нет провайдера). Сидеть за столом приятно, как-то уютно сразу становится. Но вам этого мало, вы ищете книг. И вот книга на столе перед вами. Никто не даст вам сразу библиотеку, читайте, что есть. Вот вы начинаете читать и увлекаетесь. Вы тратите на чтение следующие лет, допустим, десять. Можно было бы сказать «сто», или «миллион», какая разница? Ведь понятно, что в обычных физических условиях человек не способен читать беспрерывно. Но это — гиперболические условия.

Представьте, что вы читаете книгу, но не можете её прочесть, и не потому, что она такая длинная. А потому что в ней как бы обо всём и сразу написано. Вы постоянно сбиваетесь, возвращаетесь на прочитанные уже страницы, и вам кажется, что там уже будто бы другой текст. И как бы вы ни подступались к этой книге, она никогда не кончается и всегда новая, хотя ощущение, что вы это уже читали, остаётся. В отчаянии вы съедаете книгу.

У вас появляется тетрадь и карандаш. Вы пишете стихи, или мысли, или романы. У вас так много времени, что вы можете позволить себе переизобрести «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, или «Эдем. Эдем. Эдем» Пьера Гийота. Вам просто нечего делать. Но вы — хороший человек. Вы ведь хороший?

Но мы увлеклись описанием ваших допустимых развлечений, а пора вернуться к сути. Дело в том, что вы так и не получили ответов на вопросы: умерли вы, или нет? рай это, или ад, или вообще какое-то неопознанное неклассифицированное посмертие? за что вы здесь? Но сделали вывод, что, наверно, вы мертвы, ведь вечность струится через вас, а вы становитесь всё прозрачней.

И, кажется, уже забыли про кнопку.

В какой-то момент дверь открывается, и в комнату заталкивают нового узника. Вы не знаете, хороший ли он человек, как вы, или выродок рода людского. Вы пытаетесь ему кричать что-то, но он вас не услышит. Потому что на этих стенах нельзя написать ничего. Вы — комната и кнопка.

Вы — икона.

*Тот, кто приходит ко мне спать и видеть сны,
полные крови*

П о н и м а н и е

За окошком раздался смех. Нервный, деланный, грубый — смех какого-то подростка, — громкий. Потом повторился. Наверное, кто-то — его друг — рассказал ему какую-то шутку или показал видеоролик из сети.

Смех вызвал раздражение. Какой-то наглый, неприличный, вторгся в личное пространство души и тишины. Душа была тихой, она дремала, а теперь разбужена и беспокойна. Он разозлился и вышел на улицу

в старых домашних тапочках, растянутых трениках и заляпанной футболке.

Два подростка лет 15-16 сидели на скамейке и ели мороженое. Они улыбались, разговаривали. Один, в панамке «Найк», говорил громче, его голос бесил. И он подошёл к нему:

— Что, Панамка, смешно?

Панамка не понял. Поднял взгляд на него.

— В чём дело?

— Да вот в чём... — Он ударил Панамку ножом в грудь два раза. — Ничего смешного, сука.

Что случилось со вторым подростком? Он оторопел, открыл рот, выпучил глаза, взгляд бегал от ножа к ранам на груди товарища, — *там, на белой рубашке, распускались красные мысли*, — и он пустил слюну, издал хрип. Расплавленное мороженое стекало по пальцам, на костяшку уселась оса и ужалила. Парень вскрикнул и раздавил осу:

— С-сука!

— Вот именно! — назидательным тоном сказал убийца. — И твой друг был сукой. Теперь понял?

— Да... Кажется, я понял, — ответил парень. — Только он мне не друг, мы просто приятели, из одного класса. И я вписываться за него не буду.

(аплодисменты!)

М е с т ь

— Ты моя сучка! Моя сучка?!

— Да, мой господин!

Чужие глаза съедали её кожу, словно она сторала от внимания. Но это ей нравилось, пока зашкаливали в крови эндорфины, а потом наступила жгучая пустота.

— Выбросите этот кусок мяса! — приказал господин.

— О! Как же ты можешь так поступить со мной! — взмолилась она.

Напрасны мольбы, ей придётся умереть, чтобы дожидаться часа отмщения. И она дождётся. Когда будет идти дождь, чтобы утешить боль сгоревшей кожи. Женщина-смерть, которая подарит хозяину удовольствие.

Последнее, что он вымолвил:

— Господи, это прекрасно!

Растрезанный на куски, он даже не думал никогда, что это может быть настолько шикарно.

— Да будь ты, ублюдок, проклят! Всё-то тебе в кайф! — орала она, её бесило, что он получает удовольствие. А она хотела, чтобы он мучился до конца. Но его голова безудержно смеялась от впечатлений.

Безумная оказалась ночь. Шампанского всего мира не хватит, чтобы погасить пламя над городом. Желчь, желчь, желчь. Похоть, похоть, похоть. Смерть.

(аплодисменты!)

Дезинсектор

Он берёт с кухни новый блестящий нож сантоку и во славу дьявола режет подушку. В пух и прах! В своих галлюцинациях он побеждает гигантскую гусеницу, или слизняка. Возвышается над этим существом и становится богом-на-шесть-минут. После этого вытирает платком влажный нож, прячет его в сердце и ложится спать.

Насекомые по коже ползают — туда-сюда, туда-сюда. И поговорить-то не с кем об этом. Знакомого дерматолога посадили за продажу нелегализованных инсектицидов...

Где-то лежит незаметная и забытая — женщина-смерть. Она уже давно не чувствует ударов. Личинки порядком обвели её синее, как у Кали, тело. Из соседней квартиры слышен неприличный громкий смех.

(аплодисменты!)

Дыхание

В самый тёмный час ночи, когда растерял себя в безупречности и тотальности сна, я зашёлся приливным кашлем. Казалось, что я больше никогда не смогу вздохнуть — набрать воздуха в свои лёгкие, чтобы продолжить жизнь. Сердце забилося так сильно, что стало больно во всём теле, словно рёбра изнутри выворачивало что-то большое. Мне стало страшно за то, что я не досмотрю свой сон. А там так интересно!

Там было про рёбра. Миловидная юная женщина, которой:

- 1) разрезали грудь, как при вскрытии трупа,
- 2) раскрыли грудную клетку,
- 3) невероятно вывернули рёбра так, что они оказались за спиной
- 4) и напоминали мясные крылья,
- 5) и он называл её «нежным ангелом»,
- 6) напевал слова из песни: «Где твои крылья, которые нравились мне? Мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне...»,
- 7) постепенно объедая всё мясо с её рёбер, и крылья пришли в негодность, а женщина стала похожа на ангела тлена и больше не могла летать.

Она стояла почерневшей тенью лицом к стене и собиралась, — я это чувствовал, — вот-вот развернуться и...

А потом резко всё прекратилось. Я, наконец, смог вздохнуть и вновь уснул. Но прежний сон так и не вернулся. Я не досмотрел его.

Юный богоубийца

Знаю, что однажды это случится — меня арестуют за мои богомерзкие опыты и приговорят. И я этого боюсь. Ведь совершенно нормально — бояться насилия, унижения и отсутствия элементарных примет комфорта. Например: вряд ли в тюрьме позволят готовить кофе в моке. И там не будет видов на завтра —

таких обманчивых и симпатичных, которыми мы обманываться рады.

Зачем же я всё это делаю, если нет никакой выгоды и выхода?

Потому что я нашёл свой поток. Не я выбирал, но меня выбрали. И теперь я просто пытаюсь соответствовать. Если точнее, то: начиная с факта моего рождения, я уже был приготовлен. Всё дальнейшее меня формировало, и все «выборы» были лишь прекрасной иллюзией. Я пробовал идти против потока, и это не привело меня ни к чему, суета. Впрочем, само осознание своего потока — потребовало многих лет суеты.

Теперь я часть зла.

Теперь я ем Тебя, а не наоборот. Я уже ем Тебя, осталось только выбрать удобную форму...

Выбор юного богоубийцы

Искусство состоит из одного единственного момента — убежать. Вовремя скрыться и: не пойман — не вор.

Художник разрушает. Он растлевает души, или впрямую физически низводит людей до помешательства, как Вернер Херцог изводил Клауса Кински.

Нет нужды в дегенеративном искусстве. Прямое искусство состоит в убийстве и порабощении. Кто на деле воплотил модернистский проект? Не художнички же! Поэтому настоящее искусство — политика и экономика. И война!

Кому же не выдали стать значимой шестерёнкой в машине разрушения, тому приходится делать по мелочи.

Там-сям, Бог управил. Гниющие трупы. Спасибо, Господи!

Мы во Славу Твою перебеёмся как-нибудь. Нож. Нож. Нож. Нож.

Я — пожирающий своих (Твоих) детей. Смотри на меня!

Занятия юного богоубийцы 6

В теплокровных тепло — это просто побочный продукт метаболизма. То есть — процессов трансформации еды в энергию. Я заметил, что если перерезать или удавить тело, оно очень скоро охладевает. В людях нет любви, когда они умирают.

Она охладела ко мне.

Он охладел ко мне.

Они все холодные, как космос.

Не стоит беспокоиться. Просто они перебесились и остыли. Смотри теперь, какие они красивые! Сходи — посмотри!

Занятия юного богоубийцы 6

Быть — значит обладать. Или всё, или ничего. И это не лозунг зарвавшейся воли, а трезвое понимание положения вещей. Это такие вещи... Если не обладаешь всем, то и то, чем обладаешь, теряет всякую ценность. Поэтому: либо всё, либо ничего. Необходимо полное владение.

Прекратить быть — можно только всё последовательно растеряв. Поэтому благородные души умирают в состоянии полного маразма и беспамятства. Перефразируя известное с древних времён изречение, можно сказать: кого бог хочет наградить, того прежде всего лишает разума. Безумие — это больше, чем «аушвайс на небо», это утверждённый приказ об окончательном освобождении.

Под непрерывными струями вечности все становятся прозрачными. А прозрачные люди — ненастоящие. Они даже не властны остановить своё ненастоящее непрерывное существование. Очевидно, цель одна, а пути два: избежать прозрачности можно овладев всем, либо растеряв всё до конца. А может, это и путь один. Ведь овладеть можно лишь тем, что смог превзойти. А превзойти — это поиграть и выбросить. Как

первого своего препарированного на кухонном столе хомячка...

Или младенца, если, скажем, у вас мать работает по ночам в роддоме, и можно украсть у неё ключи. Они, обычно, пытаются избегать скандалов. Поэтому если пропадает какой-то ребёнок, они подкладывают нового. У них всегда хватает младенцев на замену, даже больше, чем надо. Невостребованные — их берут в приюты, но не более шести штук в неделю (воскресенье выходной), — и всё по утверждённому плану. Шесть пар глаз, шесть пар рук, шесть пар ног, шесть пар пальцев указательных (тыкать в небо и в вещи, которые вызывают любопытство, — это *такие* вещи!). Остальных же они топят. Поэтому иногда я их даже выручаю, избавляю от неприятных хлопот, получается так...

Занятия юного богоубийцы 6

60
 Гуинпен. Если изуродовали меня, то пусть и всех теперь изуродуют. Я буду смотреть и мастурбировать до первой крови. Потому что мечты нормального ребёнка — это власть. Потом ребёнка обламывают, и он становится серым, посредственным — человеком. Но я же не такой. Я же ого-го какой! Ну-ка, суки, немедленно подчиняйтесь! Разве не видите, псы слепые, — я же ваша надежда и любовь!

Поклонение и раболепие — вот, чего я хочу от вас! Это залоговая стоимость нашего контракта. Я буду осенять вас светом своего чела, но недаром. Поклонитесь. Просто поклонитесь мне!

Комочки кожи и нервов... Потом, когда закончу с вами, я выйду в космос. Я уничтожу весь углерод во Вселенной!

Самое трудное — это настолько широко открыть рот, насколько это необходимо. Всегда считал, что бургеры — еда для варваров. Зачем складывать продукты такой высокой стопкой, чтобы потом рвать пасть, рвать пасть? Не проще ли на тарелке разложить и ку-

шать с помощью ножа и вилки? Эстетично, удобно, легко. Человечество к этому шло, в конце концов, веками — к ножу и вилке. А жрать руками огромные куски, рыча и откусывая, чтобы по харе жир, отталкивая слабейших сородичей локтями, — так было в начале, когда люди ещё слишком походили на зверей. Так к чему мы пришли? Эй, начальник!

Иллюстрация Гойи «Кронос, пожирающий своих детей». Меня с детства потрясла и очаровала эта картинка в каком-то альбоме. Как он открыл свой рот! Он жрёт его! Этого своего отпрыска! И однажды я понял, что это то, что я должен сделать. Голова новорождённого размером с бургер средней высоты. Я разеваю пасть. Их черепные кости ещё мягкие, не окрепли. Я засовываю его целиком в свой рот.

Да! Я — само время!

Фарт юного богоубийцы

Мы предпочитаем «А» — «анти-» как стиль жизни. «А» — красной звездой, росчерком шила на Чёрном солнце! «А» — возможно только на личном уровне и равно абсолютному нигилизму. Абсолютному производству. Мы отвергаем «А» как идею для мироустройства, идею равновесного кайфа и счастья для всех, потому что люди — жадные злые свиньи. И мы — в том числе. Мы не питаем иллюзий.

Мы... Кто — «мы»? Мысли... Я мог бы пожрать мир, и стал бы миром, и был бы проклят. Но меня вырвало в мир, и мир стал мной, и я проклят.

Мёртвую жабу можно ударить током, и она покажет признаки жизни. Но оживает ли она? Разумеется, нет.

Это индивидуальный хаос. Всё работает как часы. Механические куклы.

Мы — тело без органов и границ. Монолитный однородный слизняк.

Сегодня я шёл по лесу и слушал сверчков в своей голове. Ночь и тьма. Чу! — я услышал плач, рыдания и призывы. Мёртвый ребёнок убежал от своих нерадивых родителей и заблудился. Я случайно нашёл его. И сердце моё преисполнилось скорбью и жалостью. Глядя на это худое тельце в плохой одежке... И синяки, забуревшие кровоподтеки... С ним плохо обращались. Он прижался ко мне как к богу. Я не выдержал и — удавил его.

Затем я сожалел и терзался, что такое тело пропадёт даром. Я вырезал потрошки — почки, сердце, печень. И сварил на этом суп во славу Его. Я сожрал...

Спасибо за это, кем бы ты ни был — кем мог стать, но не стал. Харизматичным вождём. Может быть — безумным художником? Может быть, добрым врачом.

Его родителей я встретил позже. Они сидели у костра, что-то жарили на огне и выпивали. Я недолго посидел с ними, мы поели и выпили. Когда я уходил, они мне пожелали форта по жизни. Я искренне их поблагодарил.

Весть юного богоубийцы

Размышляя над жабой, я стал дёргаться, словно ток проводили через меня. И меня осенило: мёртвая жаба — жива, когда через неё проводят ток! Признак «живое» условен, и двигательная активность — вполне достаточное условие.

Разве люди не похожи на таких же электрожаб? Стимул и реакция. Просто электростанция, которая даёт ток, и до поры она работает внутри человека. Когда станция ломается, люди выглядят мёртвыми. Я полагаю, что гражданские права зомби должны быть защищены заранее.

Я препарировал мужчину, или крысу, найденную в подвале. Около пятидесяти лет, или седая крыса. Они долго ещё были живы. Орала так громко, что я включил музыку.

Мне кажется, что смерти нет. Нет, они не умирают, этому нужно подобрать другое слово. Просто в них заканчивается ток, и они выключаются. Но никогда не умирают полностью. Смерти нет.

Если бы я не мечтал убить Бога, то эта новость могла бы показаться мне светлой. Но я слишком хорошо знаю, как всё устроено, чтобы так ошибиться. Поэтому я несу вам ужасную новость: смерти нет.

*Тот, кто пришёл ко мне спать и видеть сны,
полные крови*

Я

Ночью я зашёл на кухню, чтобы попить воды. У плиты спиной ко мне стояла, сторбившись, мать. Она жгла свои руки над газовым пламенем. Запах палёной плоти впервые показался мне неприятным. Обычно я *одушевляюсь* тем, что горит.

— Мама, что ты здесь делаешь? — спросил я. А потом меня осенило:

— Ты же умерла!

— Остановись, сынок! Ты падаешь в ад, осатаней! — пробормотала она.

— Отстань от меня! У меня вся жизнь впереди!

Я стал искать стакан, чтобы набрать воды и уйти отсюда, но в темноте не мог ничего различить.

— Ты умер, сынок! Прими свет божий, иначе в ад попадёшь!

— Что ты несёшь? Я жив!.. Блядь! — я выругался, потому что столкнул со стола нож, и он воткнулся мне в ногу, пробил стопу насквозь.

— Ты умер, сынок... Прими Его спасение, умоляю, осатаней!

— Пошла ты, пошла ты, пошла ты! Оставь меня, наконец! Хотя бы мёртвая — отвали! — я достал нож из ноги и собрался уже её ударить, а потом заплакал и перерезал себе шею.

Сожалел и терзался я о том, что не успел воды попить. Умер, от жажды умирая. Как же нелепо!

(тишина вернулась; благословив её, Художник, как одержимый, начал работать над эстампами, которые давно уже терзали его во снах!)

Я д

Чёрный тощий человек взял меня за руку и отвёл. Там я чувствовал себя неловко, и немного тошно мне было от густого свечного запаха и ладана. Но я выполнил все необходимые формальности. Я поцеловал руку с крестом и обо всём ей рассказал. Потом я пел в хоре. Я служил. Потом — ушёл в яму, умер в яме. В лесу в это время небо замерло чёрное и беззвездное. Безд-ное...

Чёрный я, как сердце земное. Вступаю в чертоги Бога. Он обнял меня, как своего сына. И я поцелую его. Я кусаю его. И яд потёк по его царству. И всё обращается в тлен сейчас. Я их всех развратил! Больше не будет *этого*, и времён больше нет.

А потом наступила Тьма, и не стало никакой боли в миру. И никакого мира — не было, нет, не будет. Нет!

Кнопка-кнопка. Я — яд.

Добрými семью глазами на меня смотрит, и в то же время словно я смотрю всей много□кой головой своей на какую-то фигурку предо мной. «Ты прошёл испытание, ты сделал выбор и повторил его многожды, и мы учтём его в нашей единственной книге. Другой нам и не нужно». А потом он. Потом я. Беру фигурку, раскрываю рот... Потом он хватает меня и кусает за голову. И комната лопается, взрывается изнутри.

Сердце моё падает в чёрный ручей. Оно всё ещё жаждет, жадное, жадное, сухое.

(овации расплывчатых безликих фигур!)

Эпилог

Этот странный человек, который сотворил отвратительное всему миру. Пересчитал все любопытные пальчики по количеству патронов. Своим задубевшим,

как мрамор, пальцем нажимая на спусковой крючок. И сердце его захлёбывалось барабанным боем, шумели в голове ритуалы и голоса. Если бы его спросили: «За чем ты это сделал?» Он мог бы ответить, что он просто нажимал на кнопку. Ведь больше здесь никого нет. Только комната и кнопка. Только комната и кнопка.

— На какую кнопку ты там нажимал, гнида?!

Армейский тяжёлый ботинок раздавил ему яйца, а второй — растёр его лицо, как хрустящего жука. (Бледные личинки высыпались щедро, шевелились полураздавленные так тревожно на мокром после дождя асфальте. Выползали из земли осторожные змеи и поднимали свои умные головы, прислушивались: чу!) Вокруг стояли безутешные родители и аплодировали. Они были правы, но безнадежно сломаны. И мир струился сквозь них.

Павел Лукьянов
ФОТОГРАФИЯ

В одном городе жил программист по имени Андрей. Он проводил много времени на работе, настраивая системы и устраняя неполадки в чужих программах. Однажды после одного задания, которое отняло у него много времени и сил, и которое он так и не смог благополучно завершить, Андрей лежал дома на кровати и вертел в руках коробку. Его беспокоила нерешённая на работе задача, и он не хотел думать о ней перед сном, так как в подобных случаях ему и во сне приходилось продолжать решать вопрос и не находить выхода. В коробке, которая была у него в руках, находился новый телефон. Андрей давно хотел его купить и наконец сделал это. Имея большой опыт работы с чужими программами, он без труда включил телефон и углубился в его возможности. Прошло некоторое время, Андрей уже собирался ложиться спать и захотел напоследок проверить работу фотокамеры в телефоне. Он сделал снимок и даже не посмотрел на него. Андрей уснул, и ему удалось восстановить к утру силы. На работе ему наконец удалось решить беспокоившую его задачу, и хозяин фирмы лично поблагодарил его и даже пригласил на совместный обед. На обеде было много друзей хозяина и членов его семьи. Хозяин компании ещё раз поблагодарил Андрея и больше к нему не обращался. Обед уже подходил к концу, когда всех привлёк шум споривших о чём-то хозяина и его жены. Гости подошли к ним и поинтересовались, в чём дело. Жена хозяина показывала всем свой телефон, и гости, заглядывая в экран, тут же начинали громко высказываться и спорить. Андрей протиснулся сквозь толпу и увидел на экране чужого телефона картинку, кото-

рая показалась ему знакомой. Сначала он подумал, что это сон. Он попросил взглянуть поближе и увидел, что это была фотография окна в его комнате. Это был тот самый снимок, который он сделал накануне вечером, изучая новый телефон. Помня, как трудно ему было попасть на эту работу, и что его безупречная репутация была одним из главных условий работы в компании, Андрей обеспокоился, оделся и, не прощаясь, покинул это собрание с неопределённым чувством.

Он вышел из здания и пошёл по улице. Дойдя до конца города, он остановился и огляделся. Кругом были незнакомые дома. Андрей постарался успокоиться и подумать над случившимся. Поняв, как выбраться из этой части города, он отправился домой. Дома он укрывшись в комнате и достал телефон. Андрей просмотрел его настройки и выяснил, что телефон вчера отправил первый снимок, повинуясь своим начальным установкам. Андрей проследил путь отправки и выяснил, что фотографию его окна просмотрело за день более миллиона человек. Андрей и раньше замечал, что люди не всегда разумны в своих устремлениях. Он решил хорошенько разобраться в случившемся, лёг на кровать и уснул. Во сне ему явился хозяин фирмы. Он вошёл в комнату, сел на кровать и произнёс фразу, от которой Андрей проснулся и больше уснуть не смог. Гонимый впечатлением сна, он вышел из дома и побежал по улице. Три круга вокруг района позволили ему отвлечься от ситуации. Выйдя утром на работу, Андрей сосредоточился на важном задании и не останавливался до конца дня. Возвратившись домой поздно вечером, он не утерпел и посмотрел, что происходит с его фотографией. Увиденное испугало его. Андрей отложил телефон. Потом выключил телефон. Затем выключил свет и подошёл к окну. Вопреки ожиданию улица под окном была пуста и не содержала ничего подозрительного. — Всё-таки надо что-то делать, — решил Андрей и лёг спать. Утром Андрей уже знал, как должен поступить. Он пошёл и продал свой телефон, который принёс ему столько беспокойства. Торговец

на базаре повертел телефон в руке, потыкал в экран, разобрал корпус, подул внутрь, собрал обратно и предложил цену. Андрей, не торгуясь, расстался с аппаратом, надеясь своим поступком изменить положение вещей.

Целый год прожил Андрей, никому не признаваясь, что популярная фотография была сделана лично им. Андрей старался незаметно, но быстро переменить тему разговора, когда кто-либо упоминал про тот снимок. Прошло какое-то время. Однажды у Андрея гостил его друг, приехавший по делам из далёкого города. Они сидели в доме Андрея, пили изысканные напитки и предавались воспоминаниям. Внезапно его знакомый уставился в одну сторону и замолчал. Андрей повернул голову и увидел, что друг смотрит на окно в стене. Его поразило сходство этого окна с окном из популярной фотографии. Андрей ничего не сказал другу, но когда они простились, то он вышел в Интернет, чтобы разобраться во всём самому. Оказалось, что за прошедшее время его фотография не утратила своей известности. Вначале люди пытались выяснить, кто был автором этой работы, в которой, как написал один из пользователей «видна сила зрелого восприятия жизни, соединённая с позаимствованной у детства новизной зрения». Эти слова смутили Андрея. Он читал дальше и узнавал, что его снимок породил новое направление в фотографии, адепты которого безуспешно разыскивали основателя своего движения, которое они называли «новое зрение». Андрей с интересом прочитал историю про появление автора своей фотографии. Самозванец вёл себя очень уверенно и успел собрать деньги со своих поклонников за курсы по фотоискусству, которые так и не состоялись по причине столь же яркого исчезновения самозванца. Следующих людей, которые выдавали себя за авторов фотографии, уже проверяли на детекторе лжи, и никто из них не смог убедительно доказать своё авторство работы, ставшей к тому моменту общемировым феноменом. Андрей решил ещё раз внимательнее посмотреть на фотогра-

фию, ставшую объектом этой истории. На снимке было окно в его комнате. Андрей смутно помнил момент, когда делал фотографию, лёжа на кровати. Кажется, он случайным образом разместил камеру и нажал на кнопку. — На моём месте так поступил бы каждый. Я не могу объявить себя автором снимка, мне нечего будет сказать ни о технике съёмки, ни о композиции, ни о смысле, который я заложил в свою работу. Я ещё не готов к признанию, я должен сперва пройти обучение. — И Андрей решил подробно исследовать свою фотографию и научиться её делать.

Он скупил все доступные книги по искусству фотографии и смежным областям. Книги противоречиво направляли его каждая в свою сторону, так что, просидев несколько лет над их изучением, он лишь научился делать снимки таким образом, чтобы они были сделаны по законам, описанным в книге. Никакой информации, которая бы проясняла Андрею феномен его первой фотографии, он не обнаружил. Авторы книг в тех или иных словах рассказывали о правилах соблюдения законов восприятия и иногда добавляли несколько туманных слов о некоем дополнительном ингредиенте, который назывался в одних книгах «неуловимая лёгкость», а в других «сумрачная реалистичность». — Вероятно, у людей нет ещё чёткого понимания самих себя, если они строят свои заключения на столь неявных основаниях, — подумал Андрей. Поняв, что чтение само по себе не приносит понимания, Андрей решил обратиться к практике. Скопленные за годы прилежной работы деньги он потратил на покупку самых усложнённых фотографических камер, линз и приспособлений. Друзья отнеслись к таким поступкам с неприязнью, указывая на то, что человеку в определённом положении не стоит резко менять область своей деятельности. Не слушая никого, Андрей углубился в работу с новой техникой. Ежедневно он преодолевал десятки километров, фотографируя попадавшиеся на пути события и предметы. Вечерами он просматривал сделанные снимки, сверяя их композиции с приняты-

ми эталонами. Ему удавалось сделать хорошие снимки и порой ему казалось, что он понял секрет популярности своего первого снимка. Андрей сделал личный сайт и разместил на нём лучшие из своих снимков. Однако люди с недоверием и даже враждебностью отнеслись к его новым фотографиям. Один незнакомец написал ему: — Дальше будет только хуже, — замолчите, пока не поздно! — Под потоком подобного недоверия Андрей продолжал делать снимки и размещать их на сайте. Однако чем более глубоко он познавал технику фотографии, чем изощрённее становились его работы, тем меньший интерес проявляли к ним зрители. Андрей разместил на сайте ту самую первую фотографию окна, но посетители сайта реагировали очень сердито, указывая на то, что он занимается подлогом, пытаясь за счёт ложного соседства с шедевром, выдать свои поделки за равноценные работы.

70

Однажды, когда Андрей просматривал фотографии, сделанные в течение дня, ему позвонил незнакомец. Он представился специалистом по рекламе и сказал: — Я могу вам помочь, доверьтесь моему умению. — Андрей недолго послушал и прервал настойчивую речь незнакомца, тут же забыв о разговоре. Однако на следующий день он неожиданно вспомнил слова звонившего. Незнакомец говорил о том, что современный человек более не может, работая в одиночестве, рассчитывать только на силу своей идеи. Доступность информации сильно уменьшилась. — О вас совершенно никто не знает, — говорил звонивший: — Нужны дополнительные механизмы, усиливающие силу воздействия человека на общество. — Андрей заново воспринял смысл этих слов и отправился к этому человеку.

Специалист по рекламе ещё раз повторил свою идею об одиноком художнике, которому необходима устойчивая платформа, чтобы удерживаться на поверхности общественного интереса. Андрей уточнил, что его интересует лишь нахождение ответа о привлекательности своей первой работы, ведь пойми он сек-

рет своего случайного открытия, захватившего столь большое число людей, он бы смог применить это знание для создания новых фотографий. Мастер рекламы ободрил Андрея, заявив, что тот получит всё, что просит и даже больше. Последующие события подтвердили слова специалиста.

Не прошло и недели, как у людей появился интерес к новым работам Андрея. Он приободрился и с жадностью вслушивался в растущий поток откликов и комментариев зрителей о его фотографиях. Через месяц его пригласили на телевидение, где знаменитый телеведущий целых пятнадцать минут обсуждал с Андреем особенности его метода и глубину его проникновения в сущность мира. Воодушевлённый Андрей сидел дома и прокручивал в голове диалог с телевизионным ведущим. Он даже взял за привычку просматривать запись их беседы перед началом создания новых фотографий. Специалист по рекламе ежедневно направлял Андрея в его работе, давая ему задания сделать те или иные фотографии. Глядя на растущий рейтинг новых фотографий, Андрей уверился в правильности своего развития. Однажды, решая одну из поставленных перед ним задач, он ушёл далеко в лес. Андрей долго настраивал аппаратуру, делал снимки, ставил пометки в блокнот. Завершив работу, он огляделся и вдруг понял, что заблудился. Темнело быстро, и Андрею пришлось заночевать рядом с поваленным деревом. Он мёрз всю ночь и к утру был уже совершенно болен. Его обнаружили охотники и принесли обратно в город.

Андрей долго лечился и на протяжении всей болезни не притрагивался к фотографии. Шли месяцы, болезнь потихоньку отступала, но Андрей был всё ещё слишком слаб, чтобы вставать и общаться. Всё это время специалист по рекламе предупреждал его о последствиях исчезновения, но Андрей не мог ничего изменить. Когда Андрею стало лучше, он зашёл на свою страницу в интернете и увидел, что интерес к его работам перестал расти. На вопрос о причине спада, рекламный специалист недовольно произнёс: — Пока

ты болел, я проанализировал твои фотографии, твоё поведение и комментарии на твоём сайте. Я понял, что ты слишком внимателен к чужим словам. Это мешает тебе научиться тому, что тебе действительно необходимо. Мы должны расстаться, я больше не хочу помогать тебе и смотреть, как ты теряешь время. — Сказав это, специалист собрал все свои атрибуты и ушёл.

Оставшись в одиночестве, Андрей продолжил совершать те же действия в том же порядке, в каком их совершал рекламный специалист, ведь работая с ним рядом в течение долгого времени, Андрей, казалось, понял его методы. Однако очень скоро он увидел, что повторение действий специалиста приводит его к совершенно непредвиденным последствиям. Популярность фотографий Андрея не уменьшалась, отнюдь, но у него появились странные последователи. Какие-то опасные люди стали называть его учителем. В чём была странность новых учеников, Андрей объяснить себе не мог. Но размышления о месте его работы в сердцах и мыслях этих людей с каждым днём всё сильнее занимали его. Андрей даже поймал себя на том, что уже давно не работает над своим главным вопросом и не ищет объяснения своей первой работы. В таком неопределённом состоянии Андрей прожил ещё несколько лет.

Однажды, гонимый желанием разгадать секрет своей фотографии, Андрей решил обратиться к известному фотографу, чьи работы висели в центральных музеях мира. Андрей сел на самолёт и полетел в страну, где проживал почитаемый мастер. Однако, оказавшись на месте, он смог попасть на встречу с ним только через год. Настолько плотно было занято время этого великого человека. Смирившись с предстоящим ожиданием, Андрей снял себе комнату в доме напротив дома мастера. Весь год Андрей ждал встречи и из окна наблюдал, как известный фотограф выходит из дома, разговаривая по телефону, садится в машину и уезжает, возвращаясь домой уже поздно вечером.

Андрей представлял себе, как мастер весь день проводит в поисках лучшего света и изысканных предметов для снимка. Желая приблизиться к такому человеку, Андрей купил себе такой же костюм, в каком фотограф ежедневно появлялся на улице, и также стал на весь день уходить из дома с фотоаппаратом, чтобы общее с великим фотографом занятие объединяло их, несмотря на то, что они до сих пор не были знакомы. Через год, в назначенный день, Андрей надел свой самый элегантный костюм и пошёл на долгожданную встречу с мастером. Он застал известного фотографа сидящим за столом среди разложенных и рассыпанных бумаг. Андрей стоял и внимательно рассматривал человека, к которому так долго стремился. Известный фотограф продолжал подписывать бумаги, брать со стола новые и подписывать снова. Андрей осматривал комнату, но видел лишь пустые стены. Ни одного снимка не украшало комнату. Андрей также нигде не смог увидеть ни одной фотокамеры. — Вы что-то принесли мне? — спросил мастер. Андрей опомнился и достал подготовленный альбом с фотографиями, сделанными за последний год. Фотограф нетерпеливо пролистал альбом, и сказал: — Тысяча. — Что? — не понял Андрей. — Тысяча долларов. Цена ваших фотографий. — Раздражённо пояснил фотограф. — Но я ничего не продаю. — Зачем же вы пришли? — Я пришёл, чтобы получить знание. — Очень интересно, — мастер перестал рыться в фотографиях на столе и посмотрел на Андрея: — Какого рода знание вам нужно? Обычное, редкое, сомнительное? Может быть, вы хотите получить знание, которое сделает вас нищим, или, наоборот, вы хотите получить знание, которое поместит вас в центр событий? — Я не знаю. Со мной произошло нечто, что изменило мою жизнь, и я пытаюсь хоть как-то совладать со случившимся. — Не уверен, что я подходящий собеседник. — Я ждал и страдал так долго, что прошу лишь, если это только не слишком скучно для вас, всё же ответить мне. — Что именно вы хотите узнать? — Скажите, как вы делаете

свои фотографии? Какими настройками фотоаппарата пользуетесь? Полезно ли для кадра утреннее солнце и можно ли делать хорошие кадры в полной темноте? — Мастер нахмурился и грубо оборвал его: — Я не делаю никаких снимков. Зачем мне ходить по миру, если мир сам приходит ко мне? Видишь это? — Мастер ткнул в бумаги. — Это расписки. Люди со всего мира присылают мне свои снимки. Мне остаётся лишь выбрать лучшие, выкупить их и объявить эти снимки своими. Мои посетители получают вознаграждение, соразмерное мастерству снимка. Твои фотографии неплохи, но чувствуется недавний любитель. Из какой ты страны? — Андрей ответил. Мастер оживился: — Знаешь, есть кадр, сделанный как раз в твоей стране. Если ты раздобудешь мне этот снимок, я хорошо заплачу за него. — Мастер достал из ящика и показал ему снимок. Андрей увидел, что это была та самая фотография окна в его доме. Фотограф спросил: — Что ты думаешь о таком предложении? — Андрей ничего не ответил, и, сославшись на неотложные дела, быстро попрощался и покинул чужой город, лишивший его стольких надежд. Он улетел домой и, приземлившись, сразу поехал на рынок, чтобы найти человека, которого когда-то продал свой телефон.

Город, после долгого отсутствия Андрея, изменился. Все бывшие фотомастерские закрылись, и на их местах появились неизвестные Андрею кафе и рестораны. Люди сидели за столиками возле окон и рассматривали людей на улице. Андрей подумал, что всё меньше предметов связывает с его прошлым. Он ускорил шаг, надеясь отыскать свой старый телефон и вместе с ним ту самую фотографию. Тот же продавец сидел в том же самом магазинчике и пил чай. — Что у вас? — Некоторое время назад я продал вам телефон. — Я вас не помню, — сказал продавец и отвернулся к коробкам. — Я бы хотел получить его обратно. — Какая это была модель? — Не знаю, покажите мне всё, что есть, я узнаю. — Возьмите другой телефон. — Мне нужен мой телефон. — Это невозможно. — Вы продали его? —

Продавец нагнулся под прилавок и достал большую потёртую книгу: — Когда вы приходили ко мне? — Продавец раскрыл книгу. В ней были записаны все события, случившиеся в магазине. — Эту книгу начал писать мой дед, он покупал и продавал часы и картины, мой отец покупал и продавал музыкальную аппаратуру, и все бывшие покупки записаны здесь. — Андрей удивился, что столь значительное для него событие, связанное с телефоном, занимает всего одну строчку в чужой книге. Он попросил продавца найти описание своего визита. Они начали вместе внимательно просматривать записи в книге, листая её назад и удаляясь в прошлое. Через несколько часов терпеливого труда они нашли запись о покупке того самого телефона. Продавец уточнил по записи дальнейшую судьбу и усмехнулся: — Вам повезло. Я не продал этот телефон. Он плохо работал, и я отдал его своему сыну в качестве игрушки. — Андрей упросил продавца, тот сходил домой и вернулся с тем самым телефоном. Аппарат был поцарапан, стекло треснуло, но он всё ещё работал. Андрей щедро отблагодарил продавца и ушёл. Продавец сделал новую запись в книге и убрал её обратно под прилавок.

Дома Андрей в нетерпении скачал с телефона свою знаменитую фотографию и загрузил её на свою страницу в интернете. Желая оградить себя от обвинений в самозванстве, он сделал несколько новых снимков окна, а также при помощи зеркала сфотографировал свой телефон и себя рядом с ним. Андрей написал своё имя и объявил, что именно он сделал знаменитый снимок. Довольный и успокоенный Андрей вышел из дома и весь день провёл на улице, выискивая интересные места и снимая их на старый телефон, ведь всю сложную фототехнику ему пришлось продать, чтобы выкупить старый аппарат.

Вечером Андрей открыл свой сайт, чтобы разместить свои новые снимки и увидел вместо своей страницы логотип крупной компании, производящей электронику. Здесь же был размещён текст повестки в суд,

куда его приглашали явиться. Андрей прочитал длинный и сложный юридический текст и понял, что его обвиняют в присвоении себе знаменитого фотоснимка. Андрей нашёл в интернете адвоката и позвонил ему. Адвокат успокоил его, пообещав защиту и обязательную победу. По совету адвоката Андрей показал на суде новые снимки окна и рассчитывал завершить всю процедуру как можно быстрее, чтобы застать дневной свет и сделать новые фотографии. Однако представитель компании начал говорить, что аппарат сам сделал первый снимок без инициативы со стороны человека. Они распечатали программный код телефона и показали его судье и Андрею. Андрей углубился в чтение кода и увидел, что первый снимок этот телефон действительно делает самостоятельно, даже если пользователь не желает этого. Однако Андрей помнил, что он точно нажал на кнопку телефона, чтобы проверить работоспособность камеры. Совместно с работником фирмы они просмотрели содержимое телефона и обнаружили в нём два первых кадра. Они были совершенно идентичны и совпадали с точностью до точки, однако кадр, получивший известность и хождение в интернете, был сделан самим аппаратом за мгновение до того, как Андрей нажал кнопку камеры. Подлинность первого кадра подтверждал уникальный код, находящийся в файле фотографии. Суд был проигран. Андрея заплатил адвокату за работу чувствительную сумму. При этом адвокат уговаривал его не отступить и обещал перезвонить и предложить решение. Но Андрей уже не слушал его, он нашёл в интернете адрес главного офиса компании, которая отняла у него права на фотографию, и решил поехать на встречу с директором.

Андрей сел в самолёт, отправляющийся в Азию. Из вещей вместе с ним летел только его старый телефон. Он редко летал на самолете и старался использовать эти полёты для своего развития. Андрей делал снимки Земли через иллюминатор, готовил речь для встречи и сам себе проговаривал её тихим голосом. За этим за-

нятием его заметила молодая красивая женщина. Оказалось, что она живёт в том городе, куда направлялся Андрей. Она выслушала историю его испытаний и, проникшись сочувствием, предложила свою помощь. И тогда они разработали план действий. Новая знакомая предложила Андрею сделать макияж, чтоб стать похожим на местного жителя. По её словам, это сделает его менее приметным и приблизит к успеху. Она любезно отвела его в ближайший салон красоты и помогла принять новый облик, давая указания мастеру по наложению грима. Преобразившись в местного жителя, Андрей направился в штаб-квартиру компании по производству телефонов. Маскировка действовала как волшебство, и ему беспрепятственно удалось пройти череду секретарей, коридоров, рядов охраны, подняться на лифте и подойти к заветному кабинету. Директор встретил его, сидя за столом и рассматривая стопку бумаг с цифрами. — Что привело вас ко мне? — спросил он. Андрей произнёс заготовленную речь, рассказав всю историю своей жизни. — Всё это мало похоже на правду, но даже если так, то что вы хотите от меня? Наши юристы поступили по закону, вы не должны обижаться на то, что происходят события, которые вам не нравятся. — Но вы ведь можете отказаться от фотографии? Ведь это именно я принёс телефон в ту комнату и навёл камеру на окно. Да, снимок был сделан без моего участия, но я был несчастливой частью этого события. — Директор улыбнулся, показывая, что не понимает языка Андрея. Последовал лёгкий жест, и в кабинет вошли два молчаливых человека в костюмах. Они встали рядом с Андреем, давая понять, что встреча может закончиться удивительным образом. Директор что-то сказал на своём языке, и вдруг один из людей в костюме обратился к Андрею: — Мистер Чан предлагает Вам стать директором филиала нашей компании в стране, откуда вы прилетели. В этом случае вы сможете официально считать, что все фотоснимки всех телефонов, продающихся в ваших краях, принадлежат вам. Андрей, не привыкший

к местной жаре, провёл рукой по лбу, и на его руках остался толстый слой грима. Андрей обещал подумать над предложением и поспешно покинул здание. Знакомая женщина ждала его на улице, она помогла вернуть ему прежний облик и спрашивала о прошедшей встрече. У Андрея не было сил что-либо рассказывать. Он пообещал, что напишет ей, когда снова окажется дома и разберётся в происходящем. Андрей вернулся в свой город и, чтобы разнообразить свои мысли, сразу вышел на работу, на которой его едва не успели забыть, так долго он отсутствовал.

Привыкнув доверять себе в работе и полагаясь на опыт, он не заметил, как допустил в программировании ряд серьёзных ошибок. Начальник вызвал его к себе и строго попросил не думать на работе о личных задачах. У Андрея даже начало получаться сосредоточиться на работе, но смех других людей привлёк его. Он подошёл к товарищам, которые обступили экран и смотрели на повторе самый популярный ролик из Азии, где смешно загримированного человека разыгрывают известные местные актёры. Андрей посмотрел и узнал свою попутчицу из самолёта. Она демонстрировала выражение лица разыгранного человека, показывала, как накладывался грим, смеялась вместе с актёром, игравшим роль директор крупной компании. Это было популярным развлечением в их стране, и Андрей даже удивился самому себе, не испытав почти никакого удивления от увиденного.

Андрей пытался собрать происходящее в единую цепь. — Очевидно, все мои поступки лишь усугубляют мою жизнь. Вероятно, мне нужно совершать какие-то иные действия. Возможно, решение придёт само собой, мне просто нужно принять происходящее, просто ждать и не совершать новых действий. — Решил Андрей и пошёл прочь из города, чтобы удалиться от событий и своих мыслей. Он шёл очень долго и вышел к берегу реки. Здесь было достаточно тихо, и Андрей смог сосредоточиться. Для начала он уснул. Сон укрепил его. Проснувшись, Андрей сел на берегу реки и

начал вслух рассказывать самому себе историю своей жизни. Когда Андрей дошёл в рассказе до того места, где он сидел сейчас на берегу реки, он замолчал. Его удивило, что рассказ о собственной жизни занял так мало времени. — Вероятно, я что-то забыл, — задумался Андрей. Он напряг всю волю и сознание, чувствуя, что ответ вот-вот придёт к нему. И объяснение, пришедшее к нему, показалось таким простым, что он с сомнением сказал себе: — Неужели дело только в этом? Я всё это время пытался понять смысл случившегося, но ситуация ухудшалась с каждым шагом. Всё происходящее со мной — это просто затянувшаяся случайность. Если я уберу из своей жизни все случайные элементы, то неясность исчезнет сама собой. — Воодушевлённый новым знанием, Андрей по ночам программировал специальный код, позволяющий находить в сети злополучные фотографии и любые её версии и уничтожать их. Однако выяснились некоторые осложняющие детали. Поскольку фотография Андрея прочно вошла в массовый обиход, то она стала частью чьих-то паролей от банков, части цифрового образа фотографии были встроены в систему спутниковой навигации. Двигаясь по мировой сети, избирательно уничтожая неподвластный снимок, Андрей наткнулся на отпор чужих алгоритмов, ему противостояли хорошо защищённые коды. И чем изощённее были его попытки уничтожения фотографии и всей связанной с ней информации, тем упорнее чужие программы защищались от его действий. Но Андрей не отступал, он изучил все существующие способы защиты программ и наконец сумел написать очень простой и безотказный код, который искал в сети следы фотографии и любых связанных с ней событий, проникал в найденную часть чужого кода и подменял цифровое изображение на идентичную последовательность цифр и знаков, но теперь, когда пользователи хотели посмотреть этот снимок, то видели вместо него пустое бесцветное поле. Программисты всего мира стали замечать эту странность слишком поздно. Андрей придумал

мал код, уничтожающий все следы его фотографии, но при этом не приносящий окружающим программам и процессам никакого вреда. Мировые новости какое-то время пообсуждали проделки безымянного умельца, но быстро перешли к более важным темам. Ко всему прочему программисты и журналисты не могли толком описать происходящее. Что именно исчезло из мировой сети, они понять не могли: они просто видели странное поведение системы и наблюдали какие-то неактивные части кода, дающие на выходе пустое бесцветное изображение.

Убедившись, что фотография и вся связанная с ней информация полностью удалены из мировой сети, Андрей выдохнул, опустил руки и закрыл глаза. В его голове ещё проходили части написанного кода, но постепенно мысли успокаивались, Андрей спокойно проверил результат своей работы и аккуратно удалил исходный файл фотографии. Теперь его ничто не могло потревожить. Он знал, что скоро его вычислят и найдут. Его будут судить, потому что нельзя бесследно уничтожить следы своего пребывания в сети. Андрей уже видел этот длинный коридор в здании и понимал общий порядок действия. Ему будут задавать вопросы, приводить доказательства, показывать расшифровку его действий, но всё, что могло бы действительно указать на его присутствие в этом мире, уже не существовало. Андрей был прекрасным программистом и всё предусмотрел. И что бы ему ни говорили, о чём бы его ни спрашивали, он уже и сам не мог бы ответить: что именно он сделал, и почему его проникновение в мировую систему информации не привело ни к какому изменению.

М Е Р Т В Ы Й

Т Е К С Т

Энтони Берджес

ПОЖИЗНЕННЫЙ ПАССАЖИР¹

Я знал, что стоящего в очереди передо мной зовут Пакстон, поскольку девушка, занимавшаяся его билетом, так обратилась к нему. Пакстон, подтянутый, с копной белоснежных волос, явил изрезанное морщинами лицо восьмидесятилетнего человека, когда отошел от стойки, откатив две свои сумки. Мы оба летели в Нью-Йорк первым классом. В то время я много мотался по свету, служа бухгалтером в *Single Buoy Mooring*. Пакстон не поставил багаж на ленту транспортера, тогда как мой тяжелый чемодан с болтающейся биркой поплыл по конвейеру. Бронзовокудрая контролерша вслед за его паспортом проверила американскую визу в моем и с улыбкой вручила мне посадочный билет в салон для курящих. Я видел Пакстона перед собой во время процедуры досмотра и потом предъявляющего паспорт скучающим охранникам. Слышал, как он сказал: “Последний раз, друг мой”, — видел ответную полуулыбку непонимания и безразличия, затем проследовал за ним в зал ожидания. Пакстон, обнаружив в усмешке сверкающие зубные протезы, сказал, обращаясь ко мне: “Посмотрите”, — и сунул свой паспорт в одну из глубоких урн, похоронив его под кучей полиэтиленовых пакетов, шоколадных

¹ Рассказ из сборника “The Devil’s Mode” (1989). Перевод с английского Дмитрия Чекалова.

оберток и пустых сигаретных пачек. Я сказал: “Что вы делаете?”

“А что? Вот и делу конец”.

“Конец? Вам он понадобится на том конце. Нельзя путешествовать без паспорта”.

“Можно и нужно. Сыт по горло всей этой дребеденью. Свободен как птица”.

“Как птица никто не свободен. В Кеннеди они требуют паспорт. Не впускают вас без него. Знаете, начнется: ваша виза, не состоите ли в черных списках как нежелательный иностранец”.

“Нежелательный? Я желательный для себя, только это и важно. Туда ему и дорога”.

“Его всучат вам, будьте уверены. Обнаружат, сдадут в бюро находок, доставят вам заказной почтой”.

“Интересно, куда? У меня нет адреса”.

“Извините”, — сказал я и пошел покупать бесопыльную бутылку *Claymore* и двойной блок *Rothmans*. Немало чудачков повидал я в своих поездках, но впервые встретил субъекта, глумливо поставившего себя в положение перелетной птицы. Но границу-то ему не пересечь. Мир закрыт для путешественника, не имеющего при себе маленькой сплетницы, нашептывающей ему о том, что он знает и без нее: имя, цвет глаз, груз прожитых лет, гражданство. Но посадочный талон у него был: теперь он с бутылочкой *Cointreau* и блоком *Dunhill* стоял позади меня в очереди на посадку.

“Путешествия открывают новые горизонты, — сказал он мне. — Так они говорят”.

“Впервые в Америку?”

“Впервые куда-либо. То есть по воздуху. На пароходе-то я перевидал немало мест. Но пароходы, кажется, вышли из употребления. Теперь с удовольствием жду полета”.

Я поспешил отделаться от него и направился в бар, где заказал двойной коньяк. Но он опять был тут как тут, взяв полпинты темного лондонского пива. Эти его сумки, подумал я, наверное, большая обуза. Не может

же он вечно возить их на тележке. Я посмотрел на сумки, и он — тоже. Затем наклонился, чтобы открыть одну из них. “Посмотрите на это”, — сказал он.

“Боже правый!” — вырвалось у меня. Большая желтая полиэтиленовая папка была набита авиабилетами. Копаясь в них, он сказал:

“Побываю везде. Рио-де-Жанейро, Вальпараисо, где бы это ни было, Мозамбик, Сидней, Крайстчерч, Гонолулу, Москва”.

“Если есть место, где виза совершенно необходима, так это, конечно, Москва, — сказал я. — Но, черт возьми, как вы предполагаете *побывать везде* без паспорта?”

“Побывать — не всегда побывать, — сказал он. — Я прилечу — и меня сразу отправят дальше. Но в некоторых случаях — не сразу. Кое-где придется подождать. У них там есть транзитные залы. Можно помыться, привести себя в порядок. Принять ванну. Выбросить грязную рубашку и купить новую. То же — с носками и бельем. В сущности, никаких хлопот”.

“Получается, — сказал я, озадаченный, — вы путешествуете, никуда не попадая”.

“Можно сказать и так, — ответил он с ханслоуским² акцентом. — У меня никого не осталось. Дети женились и разъехались. Я получил четверть миллиона за дом, гроши, форменное надувательство, что ни говори, если учесть, сколько я заплатил за него в конце войны. Как я поступаю с этими деньгами? Иду в туристическое агентство, где они разрезают варежку и приводят всех поглазеть на меня. По большей части билеты с открытой датой, как они называются у них. Никакой спешки. Если пропускаю один самолет, жду другого. Еще я обзавелся этими, как их... дорожными чеками, очень удобно. Кое-что оставил в банке для Джейми, моего старшего, он по крайней мере с характером. Конечно, многое зависит от того, как долго продлится эта

² Ханслоу — лондонский пригород вблизи аэропорта Хитроу.

затея. Я ведь могу прожить дольше, чем рассчитываю, в этом случае мне придется снять с банковского остатка, не так ли? Впрочем, я уверен, что все это благополучно закончится в воздухе. Сами подумайте, как эти проклятые штуковины держатся в небе? Какая-то обязательно грохнетя однажды, и я, глядишь, окажусь в ней, если повезет. Надеюсь, можно не беспокоиться». Он отхлебнул пива и прислушался с вниманием, больше подходящим к внезапному музыкальному всплеску, чем к голосу, объявляющему рейс. Я сказал: «Это, кажется, наш».

84

Меня устраивало, что нас не посадили рядом. На этот раз в первом классе людей оказалось немного, и я мог на соседнем сиденье разложить свои бумаги. Пакстон находился через проход от меня, без всякого дела, за вычетом радостей новичка-воздухоплавателя, пользующегося удобствами роскошного рейса. Он называл стюардессу «дорогуша» и «лапушка моя», захмелел от трех порций джина, но протрезвел за ланчем. Прищелкивая языком, говорил: «Вот жизнь — и никакой промашки!» Он посмотрел фильм не слишком уместный, об авиакатастрофе, послушал с открытым ртом концерт для голоса с оркестром, получил удовольствие от горячего полотенца. Даже прошел в туалет с электробритвой ради необязательного бритья и вернулся, благоухая всеми ароматами «тысяча и одной ночи» или чем-то еще в том же роде.

Наконец появилась стюардесса с иммиграционными анкетами и таможенными декларациями. Она спросила: «У мистера, конечно, британский паспорт?»

«У меня его больше нет. Выбросил в Хитроу». Она ахнула, даже присела рядом с ним.

«Простите, сэр?»

«Я не в Нью-Йорк. Я лечу — позвольте, я сейчас взгляну... да, вот, — (развернув маршрутный листок на бланке туристического бюро), — следующая остановка Тринидад. Вест-Индия, если не ошибаюсь».

“Но вы должны приземлиться в Нью-Йорке и пройти иммиграционный и таможенный контроль. Как все”.

“Я не хочу в Нью-Йорк. Насмотрелся на него до тошноты по телевизору. Я хочу в этот, как его, в Тринидад. Оттуда в Майами, где пересаживаюсь на самолет — куда? — сейчас скажу... правильно, в Рио-де-Жанейро”.

“Ни в один американский аэропорт вас не пустят без паспорта”.

“А что они со мной сделают? Отошлют назад? Разве это проще, чем отправить меня дальше по маршруту? Не понимаю, зачем все усложнять”. Она отошла от него обескураженная. Покорно заполняя декларацию, я почувствовал слабый укол, нанесенный моему самолюбию ощущением собственной несвободы. Пленник правил, невольник белой линии, сопутствующей иммиграционной очереди, игрушка таможенника, изучающего мои желудочные таблетки так, словно это наркотики.

“Сколько всякого вздора”, — сказал мне Пакстон. Я был согласен с ним. Мне вспомнился старик Эрни Бевин, министр иностранных дел в послевоенном лейбористском правительстве, говоривший, что каждый должен иметь возможность прийти на вокзал “Виктория” и заказать билет в любую часть света. Мир принадлежит людям, не правда ли? Все мы были совладельцами этой планеты. Нацию стали тогда определять как совокупность людей, организованных для ведения войны, а поскольку утверждалось, что великие войны принадлежат прошлому, то и наций больше как бы не было. Возможно, нация превратилась в абстракцию, единственным опознавательным знаком которой остался таможенный и иммиграционный контроль.

В Кеннеди молодые негритянки в униформе велели Пакстону сделать то же, что все, — ему пришлось перенести свой тяжелый багаж к иммиграционной очереди, жалуясь на треклятую свободу, то бишь ее отсутствие. Уже подходя к стойке, я выпустил его в очередь

перед собой, став невольным свидетелем происходящего, не смея ослушаться белой линии, соблюдая, как положено, благоразумную дистанцию. Ему сказали, что без паспорта и визы он не может попасть в Соединенные Штаты: разве всё это ему не объяснили? Да, но он и не рвется в Соединенные Штаты, он на них вдоволь насмотрелся по телику, ему бы попасть прямо на Ямайку. “Это значит проследовать, — сказал чиновник, — к другому терминалу, то есть фактически все равно оказаться в Нью-Йорке”. — “А! Здесь я вас поймал, — сказал Пакстон, — я прилетел на *British Airways* и сажусь тоже на рейс *British Airways*”. Затем Пакстона с его сумками увела негритянка в тужурке. Не имея возможности помахать рукой, он отвесил мне залихватский поклон. Подошла моя очередь, и чиновник покачал головой по поводу человеческих безумств, имея в виду беспаспортного Пакстона. Я сказал, может быть, неблагоразумно: “Всех нас тошнит от виз и паспортов. А преступникам они не помеха. Слишком много бюрократии. Мир должен принадлежать его обитателям”. Он не стал спорить, но посмотрел на меня неодобрительно. В сущности, я позволил себе намек на бессмыслицу его работы. Он поставил штампы и дал мне проследовать в хаос багажной карусели.

В следующий раз я встретил Пакстона спустя месяца четыре. Это произошло в аэропорту Карачи, безобразном сооружении, переполненном бесполезными коричнево-шоколадными служащими, утруждавшими себя так мало, как только это возможно, поскольку был Рамадан и закатная пушка еще не выстрелила. Пакстон выглядел неплохо, но страдал от жары. “Отказали кондиционеры... или их вообще нет у этих итальяшек. Хотелось бы домой, в прохладу с ледяными напитками”. Он вытер шею полотенцем.

“Домой?”

“Да, так я их называю. Все самолеты одинаковы, ведь так? Садясь в следующий, я как будто возвращаюсь в предыдущий. По сути, это и есть мой дом”.

“Как вы устроились, ничего?”

“Да, только питаюсь нерегулярно, и несколько нарушился сон. Я подарил часы... арабскому мальчику... в Абу-Даби, мне ведь теперь безразлично, который час. Там совсем другое время, наверху. Желудок слегка подвел меня, но я принимаю вот эти. — Он проглотил таблетку. — Не могу пожаловаться: вижу мир, и это почти всегда — море. Суши так мало. Пересек линию смены дат, направляясь из Окленда на Гавайи, и потерял или выиграл день, уже не помню точно. Стюардессы очень симпатичные, и чем дальше на восток, тем милостивей. Даже почудилось, будто устраиваюсь с одной из этих японочек в кимоно. Еще будто прикорнул на земле”.

“Это то, что вам нужно. Неделю передохнуть в гостинице. Есть очень приличная в Бангкоке”.

“Знаю, слышал о ней, летел с группой янки, направлявшихся туда. Уж очень громко смеются. Когда захочу провести несколько дней, так сказать, на берегу, заворачиваю в Рим. Там, в аэропорту, есть маленькая гостиница вроде приюта, совсем крошечная, но по эту сторону барьера, — и нет паспортной бодяги. Отсыпаюсь, хотя мучают кошмары, принимаю ванну и даже стираю носки, чтобы не покупать новые, затем просто шляюсь по аэропорту, выпиваю чашечку этого кофе с пеной, иногда — небольшой перекус. Смотреть не на что — так я пристрастился покупать книги. В мягкой обложке, чтобы не жалко было выбросить. Теперь путешествую налегке. Только одна сумка, как видите. От второй избавился в Хитроу”.

“Значит, снова там побывали?”

“Пришлось, иначе никак. На пути из Рио в Рим. — Затем он мрачно посмотрел на громадный боинг, распластавшийся на взлетной полосе. — А теперь Бомбей. Вы тоже?”

“Нет, я дальше на восток. Вы сказали что-то о кошмарах”.

“Да, таких у меня не было с детских времен. Некоторые очень страшные. Моя старуха, вот уже семь лет

покойница, царство ей небесное, закатила мне скандал в одном из них: почему я погасил на плите газовую конфорку? “Еще не готово”, — заорала она — и вытащила здоровенную змею из кастрюли”. Его передернуло.

“Нарушение суточных ритмов”, — сказал я.

“Вот-вот, то самое выражение, что употребил этот доктор, летевший со мной рейсом Париж — Вашингтон. Симпатичный молодой человек, специалист по раку. Он объяснил, что тело гнет свою линию независимо от перемещения в пространстве. Бунтует на закате, когда настроено на полдень. И ваш сон, — сказал он, — летит ко всем чертям”.

“Да, — поддержал я и продолжил со значением: — Не странно ли, что незыблемые константы на поверку оказываются относительными. Восход, полдень, ночь... Они подкрадываются к обитателям земли в разное время”.

“И эти летающие девочки, стюардессы, у них уйма неприятностей с менструациями. Страшно подумать, какие кошмары их мучают. Все хочу спросить их об этом. — Он помолчал. — У птиц не бывает кошмаров, правда?”

“Коллективные кошмары, — сказал я. — Возьмите, например, этих воронов рядом с гостиницей *Mount Lavinia* в Коломбо. Они все вместе кричат по ночам”.

“Хорошенькое местечко Коломбо, да? В какой это стране?”

“В той, что теперь Шри-Ланка, а прежде называлась Цейлоном. Гостиница неплохая, за вычетом вороньих кошмаров”.

Полтора месяца спустя я опять повстречал Пакстона в зале отправления Хитроу. Полагаю, он неизбежно должен был приобрести некоторую известность на мировых авиалиниях, стать предметом обсуждения во время выпивок экипажей. Я нашел его сидящим за белым столиком с серьезного вида молодой особой, девавшей пометки в блокноте. Увидев меня, он расслаб-

ленно помахал рукой. “Не могу вспомнить эту напасть, — сказал он, — разрушение ритмических циклов?”

Я подсел и представился даме, назвавшейся Глорией Типшет, служащей отдела по связям с общественностью в *British Airways*. “Пройдемте со мной в офис, мистер Пакстон, вас там поджидает маленький сюрприз”.

“Не хочу никаких сюрпризов, — возразил он сердито. — Хватит их с меня. Эти мои ритмичные циклы полностью расстроены”.

“Суточные ритмы”, — сказал я. Термин, мне показалось, был ей незнаком. Ее звали Глорией, что было досадно, поскольку славной я бы ее никак не назвал. Ей пошло бы имя Этель или Эдит, неприметной, как мышь, со ртом, набитым стертými гласными уроженки южнобережных кварталов Лондона. Она сказала: “Я схожу и принесу его, если хотите. Это ваш паспорт. Его нам доставили несколько месяцев назад, и когда ваше имя всплыло в компьютере, осталось только связаться с иммиграционными властями”.

Реакция Пакстона была абсолютно безумной. “Не желаю видеть эту чертову дрянь, — закричал он. — Возьмите ее себе”. И стал панически отмахиваться, как будто ему ее уже принесли: “Я свободный человек, понятно? Свободный, как треклятые вороны!” Наверное, он вспомнил Коломбо. На громадном черном табло появилось название “Стамбул”, и замигала маленькая красная лампочка. “Вот куда я направляюсь, — сказал он. — Раньше назывался Константинополь, есть даже песня об этом”. Можно было бы ожидать большей запущенности от столь затянувшихся и эксцентрических странствий. На нем неплохо сидел костюм, мне показалось, гонконгского производства, а снежно-белые волосы были аккуратно подстрижены. Но походка выдавала некоторое нарушение координации, и одна-единственная сумка выглядела тяжелой для него.

“Что вы от него хотите?” — спросил я.

“Да, дикая история, не правда ли? В данном случае меня интересует его мнение о нашей авиакомпании в

сравнении с другими. И возможно, что-нибудь для нашей многотиражки. Он, кажется, с приветом. Раньше торговал скобяными товарами”.

Будто это что-то объясняло.

“Вам не следует так говорить об одном из лучших ваших клиентов. Я имею в виду “с приветом”. Он проводит последние годы жизни, как ему нравится. Ошибка его лишь в том, что он считает себя свободным человеком. В наши дни никто не свободен. Он выпал из структуры — и теперь демоны хаоса набросились на него. Можете цитировать меня, если вам угодно”. Но она не поняла и, скорее всего, подумала, что я тоже спятил. Убрала свой блокнот. Ее ноги, показалось мне, пока она удалялась, были (да позволено мне будет прибегнуть к этому слову в контексте ее имени) славными, по крайней мере ладными, не чета ее гласным и мышшиной неприметности. Природа раздает дары по собственному произволу.

90

Месяца два спустя я обнаружил Пакстона в клубе для пассажиров первого класса в цюрихском аэропорту, простертого и храпящего на диване среди подтянутых бизнесменов, читающих *Zürcher Zeitung*. Они, как принято говорить, держались от него подальше. Я смешал для себя джин с тоником и сосредоточился на передовице *Corriere Ticinese*. Никаких новостей, кроме встречи в верхах и терроризма. Объявили посадку, кажется на Берн, и большая часть чопорных бизнесменов поднялась из кресел. Пакстон, чье подсознание, вероятно, отреагировало на объявление, резко пробудился. Верхний зубной протез у него отвалился, и он восстановил его двумя большими пальцами. Меня он увидел без всякого удивления. “Вы много путешествуете, — сказал он. — Впрочем, вы молоды”.

“И еще имею жену и детей, чтобы стремиться домой”.

“Знаете, куда я сейчас? В Тегеран”.

“Ничего местечко, если там не оставаться. А оттуда куда?”

“Кажется... я должен взглянуть... так не помню...” Он полез открывать свою сумку, но был слишком утомлен для лишних усилий. “Во всяком случае, какое-то арабское название. Хочу, чтобы это скорей кончилось. Американцы сбивают гражданские самолеты над Персидским заливом. Надо держаться к ним поближе. И потом... все время пишут об этих угонщиках самолетов, но мне, черт возьми, не везет. Они бы стали угрожать мне пистолетом, я бы оказал сопротивление, меня бы укололи — и делу конец. Жить вечно нельзя, и не надо этого хотеть. Я отпраздновал свой восьмидесятый первый день рождения по дороге в Токио. День рождения в полете. Сказал им — и они дали мне шампанского, но они и так дают его всем”.

“Но вы совершили нечто, чем можно гордиться. Нечто совершенно необычное”.

“В Риме — Колизей, в Париже — Эйфелева башня, но я не видел ни того, ни другого. А также Тадж-Махал где-то в Индии, о нем много разговоров. Только это не для меня. Для меня — распроклятое кресло и одна и та же штукавина, которую откидываешь, чтобы поставить поднос во время обеда, а время обеда хрен знает когда, в самое разное время. Завтрак в три часа ночи. Это противоестественно. Что-то в этом роде они, я думаю, раньше называли грехом. Сновать вокруг Земли во всех направлениях и не давать солнцу делать свою сизифову работу — садиться и вставать в положенный час. Уж не знаю, чем это кончится”.

“Вы сами это прекратите. Продолжать ни к чему. Вы доказали все, что хотели. Возьмите свой паспорт в Хитроу и валяйте в частную гостиницу. В Истборне или в Борнмуте, вам есть что рассказать”.

“О внутренностях самолета, о городах, которые для меня пустой звук? Сделайте одолжение”.

“Это была ваша идея”.

“И довольно дурацкая, по правде говоря. Но все равно я к ней привык. Она стала, как говорится, образом жизни. Манерой жить, чем-то в этом роде. А вы теперь куда?”

“Дюссельдорф”.

“В командировку?”

“Не в отпуск, это уж точно. Кажется, мне пора на посадку. Еще свидимся”.

“Свидимся, даст бог. Еще как свидимся!”

Мы и в самом деле встретились в стоковольском аэропорту. На этот раз Пакстон был не один. Он сидел с человеком приблизительно того же возраста, но покрепче здоровьем, примерно таким, каким был Пакстон в начале своей бессмысленной одиссеи. Плохо выглядевший Пакстон поздоровался со мной в баре. Слабым шведским пивом он запивал *Absolut*. “Старый кореш, — сказал он. — Вместе воевали. Восьмая армия. Чтобы повидать другие страны, паспорт был не нужен. Не знаю вашего имени, — обратился он ко мне, — а его имя все время забываю”.

“Алфи, — сказал тот. — Алфи Мелдрам. Рад познакомиться, — и крепко пожал мне руку. — Он тут сваял дурака. Запер себя в летучей тюрьме. Выбросил паспорт, чтобы гарантировать себе, что останется внутри. Не понимает, что это отмычка, открывающая двери. Думает, что ею запирают, а не наоборот”.

“Я вам объясню, — сказал Пакстон. — Все это началось в конце войны, когда появились продовольственные карточки, удостоверения личности и прочая бюрократическая канитель. Они пропустили букву в моей фамилии. Записали меня как Пастон. Сначала я решил, что это забавно и превращает меня в какую-то пасту. Но когда я менял свои продовольственные карточки и указал на ошибку, гунявый клерк в Уолверхэмптоне, где я тогда работал, объявил мне, что Пакстон теперь мое настоящее имя — и следует подтвердить это в своем заявлении. Это бы означало превратить чью-то дурацкую паршивую ошибку в Божий замысел, так сказать. Когда-нибудь я проучу их, сказал я себе, за эту чертову путаницу с их паршивыми документами. — Его возбуждение мне показалось чрезмерным. Расстройство суточных ритмов довело-таки его

до невроза. — Когда им надо, чтобы ты сражался на их паршивых войнах, они напрочь забывают о паспортах. Отстоим свободный мир — вот с чем тогда все носились, а теперь посмотрите на этот паршивый свободный мир с его крючкотворством. Уж я хлебнул горя, когда честно старался заработать на жизнь, с их подоходным налогом, налогом на добавленную стоимость и головными болями, которые у меня возникали при заполнении анкет. Так вот, всему этому конец. Больше никаких анкет. Свободный человек”. Он был подавлен, этот свободный человек, словно пропустил удар на ринге.

“Такой свободный, — сказал Алфи Мелдрам, — что не может отправиться со мной в Осло, где моя дочь выходит замуж за одного из этих норвежцев. Теперь-то ты куда, Лемюзль?” Лемюзль, Лемюзль — имя, не слишком-то подходящее для документов.

“Копенгаген. Затем Берег паршивой Слоновой Кости, потом бог знает куда. У меня все это тут записано”. И он показал дрожащим пальцем на единственный предмет своего багажа.

Тремя неделями позже, когда Пакстон и я оказались в одном самолете, мне стало ясно, что развязка приближается. Мы оба летели в Джакарту на аэробусе новой авиалинии “Австралийские восточные рейсы”, очевидный парадокс которых состоял в том, что мы держали путь на северо-запад: таинственный восток никогда не окажется восточнее Австралии. Салон первого класса был заполнен, и Пакстон во всеуслышание жаловался ширококостной сиднейской стюардессе на то, что должен терпеть под боком японца: “Сражались с этими мартышками в последней войне, я-то нет, но многие сражались, включая, наверное, и твоего родителя, и вот он, нате вам, со своими компьютерами и транзисторами, и шмыгает тут своим заложненным носом; носового платка не придумали, несмотря на свою паршивую изобретательность”. Японец улыбался, взирая на западное безумие и не понимая ни слова. Пак-

стона пересадили, но его, судя по всему, не устраивал и новый сосед — грузный австралийский животновод. Когда принесли обед, он заявил, что суп никуда не годится: прокис на треклятой жаре в своих судках во время стоянки самолета, но стюардесса объяснила ему, что особый вкус — это привкус капли шерри, добавленной в суп для аромата. Затем, когда крутили фильм, он сказал, что уже видел эту паршивую вещь, и стюардесса привела второго пилота, чтобы сделать ему официальное предупреждение. “Выбросите меня за борт, в этом идея? Давай принимайся, не тяни, старина, или как там тебя зовут, кроликовод, хочешь — засунь меня в свой кенгуриный набрюшник”. Я заслонился газетой *The Australian*, хотя представлялось весьма вероятным, что он не помнил, кто я, черт возьми, такой.

Грустная история имела завершение в Западном Берлине. Я направлялся в Вену, только что прилетев из Мюнхена, и уже пригласили на посадку. Он сидел в инвалидном кресле и был явно привязан к нему, сопровождаемый двумя санитарями в белых халатах и несколькими служащими “Люфтганзы” в униформе. До моего слуха долетали его вопли: он всегда знал, что этим кончится, проклятые нацисты добрались-таки до него, а ведь он — свободный британский подданный, паспорт мог бы доказать это, если бы не ублюдки, его похитившие. Пакстона бережно катили к выходу, в обход всех иммиграционных формальностей. Там, в его предположительном месте назначения, паспорта вообще не требовалось.

Уильям Берроуз
ДНЕВНИКИ ЛИ³

На первый взгляд лицо Ли, его личность казались абсолютно безликими. Он был похож на человека из ФБР, на кого угодно. Но это отсутствие примет, чего-нибудь запоминающегося или причудливого, и определяло личность Ли, так, что, встретив его во второй раз, вы бы его уже никогда не забыли. Временами черты его лица выглядели невыразительными, затем они неожиданно приобретали отчетливость, острые и очищенные от вспышек упорства. Он излучал электричество, насыщавшее его мешковатую одежду, его в железной оправе очки, его грязную серую фетровую шляпу. Эти вещи кругом узнавались как предметы, принадлежащие Ли.

Его лицо напоминало фотографию с многократным наложением изображения, запечатлевшую материализовавшийся дух, никогда по-настоящему не любивший ни мужчину, ни женщину. Тем не менее он был одержим острой необходимостью воплотить свою любовь, изменить сущее. Обычно, он подбирал кого-нибудь, кто не мог ответить ему взаимностью, с тем, чтобы он — с осторожностью, как пробуют лёд, хотя в случае с ним опасность заключалась не в том, что лед проломится, но что он мог выдержать вес — взвалить бремя неспособности полюбить на партнёра.

Объекты его неловкой любви считали себя обязанными заявить о нейтралитете, ощущая себя в центре

³ Lee's Journals, 1982. Фрагменты записей, набросков и рассказов, написанных с 1954 по 1957 год. Из авторского сборника «Интерзона» (1989).

борьбы темных сил, не в опасности как таковой, но рискующими оказаться на линии огня. Ли никогда не действовал по сценарию «убить любовника и себя». По сути, любовник всегда оставался Посторонним, Чужаком, Наблюдателем.

Ходил на обед к Брайону Гайсину в Медину: Брайон, Дэйв Мортон, Лейф и Марв, и статный новозеландец, который в Зоне проездом. Ужасный безмозглый агрегат. Мортон спросил меня: «Как долго вы пробывали в медицинском колледже, пока они не обнаружили, что вы не труп?»

Стандартные многозначительные фразы для проверки чужака. Брайон говорит: «Мои туфли какие-то не такие», и за обедом принимается за их чистку.

Марв говорит: «Я так чувствителен к этим словам. Мне бы не хотелось, чтобы вы произносили их», — вращая на юного незнакомца своими круглыми серыми глазами, с трещинками и подернутые дымкой словно расколотый мрамор... О, Господи!

Но всё это просто пустяки. Оглядывая комнату, я неожиданно понял, что другие люди были просто образами кошмарного сна при пробуждении, когда не возможен никакой контакт.

В каком-то смысле эта встреча была ещё хуже собрания настоящих обывателей, какого-нибудь собрания сент-луисского провинциального клуба, в котором прошло моё детство. Там правит бал тоскливый формализм. Это просто тупо, это было ужасно, говорило о конечном тупике в общении. Ничего из того, что нужно было сказать, сказано не было. Сухой треск фикции и гниения наполнял комнату своей гибельной частотой, звуком, похожим на трение крыльев насекомого.

Сон: я — в Интерзоне несколько лет тому назад. Встречаю старого гомика, который все реплики перекручивает в устаревшие многозначительные намёки голубых. Ничего кроме зла я в этом бессмысленном стоянии не вижу. Мы встречаемся с двумя лесбиянками, и они здороваются: «Привет, мальчики», мертвое ритуальное приветствие, от которого я с отвращением

отворачиваюсь. Гом следует за мной, заходит со мной в дом. Меня тошнит — такое ощущение, словно ко мне прицепилось отвратительное насекомое.

Я шагаю по сухой белой дороге на окраине города. Здесь опасно. В воздухе сухой коричневый вибрирующий треск или частота, похожая на трение крыльев насекомого. Я прохожу через деревню: над конструкциями из проволоки на два фута в высоту возвышаются, словно огромный муравейники, кучи черной одежды.

Снова в городе. Повсюду сухой треск. Ни звук даже, а какая-то частота, длина волны. Волны вызывает Святой с черным лицом. Он управляет с похожего на башню сооружения, покрытого одеждой.

Я нанимаюсь убить Святого. Какой-то араб вручает мне уведомление об увольнении для предъявления в оружейный магазин, в котором мне выпишут снайперскую винтовку. Со мной идёт друг. Говорит мне: «Нет смысла сопротивляться Святому. Святой существует. Святой прав».

«Ты ошибаешься, — говорю я на это. — Ошибаешься! И я больше тебя видеть не хочу».

Я прячусь от друга в цветочной лавке, за корзиной с цветами. Он стоит у корзины как будто у моего гроба, рыдая, заламывая себе руки и умоляя меня отказаться от убийства Святого. Я тоже плачу, мои слёзы падают в желтую пыль, но я не сдамся.

Часто можно услышать, что Великие Державы никогда не оставят Интерзону из-за её значения подслушивающей комнаты. По сути, это подслушивающая комната мира, слабеющий пульс гибнущей цивилизации, участить который может только война. Здесь Восток встречается с Западом с окончательным торжеством непонимания, каждый в поисках Разгадки, Секрета и в бесплодных попытках разузнать его у другого, потому что Ответа нет ни у кого.

Я ловлю вальях мух со странным удовольствием, которое получаешь от извлечения из глаз ресницы или выдёргивания волоска из носа; момент, когда волос с

мягким щелчком выходит, и вы крутите жирный чёрный волос между пальцами, рассматривая белый корень, противившийся вырыванию. Так чувствовал я, когда прохладная влажная муха билась у меня между пальцами, и мягкий хруст, когда я, нежно, чтобы не дать излиться липкому соку или крови, раздавил головку, — откуда берётся кровь? они кусают и пьют кровь? в конце концов давая мухе упасть на пол, вращаясь как сухой лист.

Неудача — это загадка. Человек каким-то образом не совпадает с местом и временем. Он сообразителен, способен анализировать информацию, собранную специалистами, но он словно призрак движется по миру, не умеющий найти место и время, и человека, чтобы заставить всё работать, придать всему плоть в трёх измерениях.

Я мог бы стать удачливым грабителем, гангстером, бизнесменом, психоаналитиком, контрабандистом наркотиков, подрывником, тореадором, но обстоятельства всегда складывались иначе. С годами я начал сомневаться в том, что моё время когда-нибудь наступит. Оно либо придет, либо нет. Нет смысла его подгонять. Попытки прорваться привели на край гибели, почти катастрофе, предупреждениям. Я развиваю осторожную пассивность, как бы наблюдая за противником в ожидании проявления малейшего признака слабости.

Конечно, всегда остаётся возможность отчаянного прорыва с пистолетом в руках, паля во всех, кто меня раздражает, беря поставку наркотиков под прицел — безумие в форме активного самоубийства. Даже для этого потребовался бы сигнал из вне или из глубины самого себя, что впрочем одно и то же. Противопоставление внутреннего внешнему я всегда рассматривал как фальшивую дихотомию. Четкой границы нет. Возможно:

— Скажите мне прямо, док.

— Очень хорошо... Возможно, год, придерживаясь режима... — он потянулся к блокноту.

— Оставьте в покое режим. Это всё, что я хотел узнать.

Или просто взрыв знания в конце концов: «Это последний ваш шанс освободится от осторожной стареющей испуганной плоти. Чего же вы ждёте? Смерти в доме для престарелых, во время украшения своими хрупкими ягодицами лавочки в комнате для отдыха?»

Размышлял о выдумке, будто кошки садятся к тебе на грудь, и ты дышишь выдыхаемым ими воздухом и задыхаешься. Просто садятся, послушать только, нос к носу, и каждый раз ты вдыхаешь углекислый газ из лёгких кошки. История эта похожа на протоколы сионских мудрецов. Придумана кошконененавистниками. Так я зачинаю антикошачье движение, указываю на их подлый, чувственный, аморальный характер и начинаю их полное уничтожение, геноцид против самого понятия «кошачий». На ненависти всегда можно хорошо заработать.

Возможно, Гитлер был в каком-то смысле прав. В том смысле, что некоторые подвиды *homo sapiens* неконкурентоспособны. Жить и давать жить другим невозможно. Если ты позволишь им жить, тогда они уничтожат тебя, создав такую среду, в которой места для тебя не найдётся, и ты умрёшь. Теперешняя духовная среда для меня совершенно невыносима, но ещё есть свободное пространство, слабость, которой можно воспользоваться в любой момент. Безопасность заключается в истреблении типов, создающих для тебя среду, в которой тебе не выжить. Так что я скоро умру — к чему суетиться? Мне представляется возможной некая форма перевоплощения. Я есть, а следовательно, я был и всегда буду.

Глядя на свои лоснящиеся от грязи трусы, которые не менялись месяцами, незаметно проходящие дни, тонкой ниточкой крови нанизанные на шприц... так просто забыть секс и выпивку, и все острые удовольствия тела в этом забытии негативного удовольствия, в этом толстом коконе покоя.

Всё больше и больше проблем с farmacia. Весь день до пяти часов вечера провёл в поисках юкодола. Всё кончается. Вены, деньги. В аптеке я чувствую статическое напряжение, контроль гудит как телефонная трубка.

«Муу difícil ahora», — говорит мне аптекарь.

Как выглядит угодливый рак контроля? Покончивший с собой немец — всего лишь уловка, предлог; несколько дней тому назад я стоял в баре, когда моей руки коснулся мужчина. Я тут же подумал, что он полицейский. В кармане у меня была коробка с ампулами метадона, которые я только что купил в Plaza Farmacia. Что он скажет на это? Ничего, во всяком случае в Зоне. Он спросил меня, не Макс Густав ли я? Естественно, я ответил «нет». У копа был его паспорт, и он показал мне фотографию Густава, на которого, по его мнению, я был похож.

На следующий день в газетах я прочёл, что Макс Густав был найден мёртвым в канаве за городом; похоже на самоубийство от передозировки нембуталом. Видимо тогда, когда коп спрашивал меня, а не Макс ли я, о его смерти ещё не знали. Он уехал из гостиницы, оставив чемодан. Через два дня из гостиницы позвонили в полицию. Те открыли чемодан, нашли паспорт и начали поиски Макса Густава... Да, в следующий раз без рецепта метадон в Plaza Farmacia не продадут. В связи со смертью Макса Густава в силу вступили новые правила. И это показывает, насколько взаимосвязаны вещи и вообще. Билл Гэйнз стал бы здесь последней каплей. Но у медали две стороны. Теперь кругом нужна бумажка. Почему бы не обратиться за разрешением на покупку героина?

Такая острая депрессия. Так плохо мне не было со дня смерти Джоан.

В ожидании юкодола всё утро ужасно себя чувствовал. Постоянно перед глазами стояли знакомые лица, люди, которые представлялись мне продавцами, официантами и тому подобное. Эти лица собираются и возвращаются к тебе в маленький город так, что ты

просто задыхаешься от вида знакомых вещей на каждом шагу.

Сидя на террасе кафе Интерзоны, больной, в ожидании юкодола. Мимо проходит мальчик, и я поворачиваю голову, наблюдая за его поясницей, как поворачивает голову ящерица, наблюдая за полётом мухи.

Деньги заканчиваются. Должен бросить двигаться.

Чего я добиваюсь писательством? Этот роман о переходах, личиночных формах, неожиданно появившихся телепатических возможностях, попытках управлять и бороться за новые формы.

Я чувствую, что в мире освободилась какая-то ужасная новая сила, которая распространяется, несет гибель, как незаметно подкрадывающаяся болезнь. Дальние уголки мира кажутся сейчас более здоровыми потому, что она их почти не коснулась. Контроль, бюрократия, регламентация — это только симптомы более тяжкой болезни, от которой ни политические, ни экономические программы не панацея. Что же собственно такое болезнь?

Сон: нашёл человека с отрубленными руками. Чтобы остановить кровотечение я поливаю обрубки водой — несколько лет тому назад в Нью-Йорке один молодой хулиган одолжил у меня пистолет и не вернул. В порыве гнева я проклял его. Спустя несколько дней ему оторвало обе руки при взрыве бензинового бака, возле которого он работал. Он умер. Так проклятья действуют? Конечно, в какой-то мере.

Все больше и больше физических признаков депрессии. Последний — жжение в груди.

До 35 лет, пока я не написал «Джанки», у меня было какое-то особое отвращение к писательству, к собственным мыслям и чувствам, изложенным на бумаге. От случая к случаю я писал по несколько предложений и останавливался, переполненный отвращением и каким-то ужасом. В настоящее время писательство представляется мне абсолютной необходимостью, и в тоже время у меня такое чувство, будто мой талант утерян, и я ничего не могу довести до конца, чувство,

похожее на понимание телом болезни, которой разум пытается не поддаваться.

Это ощущение ужаса теперь всегда со мной. В тот день, когда погибла Джоан, у меня было такое же ощущение; и как-то, когда я был ещё ребёнком, я взглянул в коридор, и меня без какой-либо на то причины охватило такое чувство отчаяния и страха, что я разрыдался. В тот день я заглянул в будущее. Я узнаю это ощущение, а то, что я увидел, ещё придется осознать. Я могу только ждать, чтобы это случилось. Это отвратительная случайность, как смерть Джоан, или просто дезориентация, неудача и, в конце концов, одиночество, тупик, в котором не к кому обратиться? Я — просто старый свихнувшийся зануда со своей ерундой в баре? Не знаю, но я чувствую себя в ловушке, обреченным.

Пока я ждал юкодол, ко мне пристали несколько нищих. Две парализованные ниже талии девочки, передвигающиеся на своих деревяшках. Они преграждают мне путь, цепляясь за мои брюки. На пляже английский моряк. Приближает своё лицо к моему и говорит: «Когда-нибудь на их месте можешь оказаться и ты». Я захожу в кафе и сажусь у стойки с чашкой кофе. Меня трогает за руку ребёнок лет семи, грязный и необутый. Эти люди вырастают в нищете и содомии.

Ощущение моего детского кошмара становится моим привычным состоянием. Может это предчувствие ядерной катастрофы? Сон норвежца, жившего в шестнадцатом веке: ему привиделось черное в форме гриба облако, закрывавшее собой небо.

Сейчас у нас новый тип власти. Не власть единоличного правителя, не власть аристократии или plutократии, но небольших групп людей, поднятых на вершину власти произвольным давлением и подвластных политическим и экономическим силам, почти не оставляющим места для манёвра. Они представляют абстрактных сил, достигшие власти через отказ от самих себя. Жестокий диктатор — это экспонат прошлого. Не будет больше ни Сталиных, ни Гитлеров. Прави-

тели наименее безопасного из миров — это правители случайные, недееспособные, испуганные пилоты у приборной доски огромной машины, которой они не понимают, зовущие на помощь экспертов, чтобы те подсказали какую кнопку нажать.

Джанк — это ключ, модель жизни. Если бы кто-нибудь разгадал джанк, ему стали бы тогда открылись некоторые из секретов жизни, главные ответы.

Я уже упоминал возросшую чувствительность к ощущению ностальгии, схожему с грёзами наяву, которой всегда сопровождается джанк-болезнь в лёгкой форме. Сегодня утром, проснувшись без джанка, я закрыл глаза и увидел утесы на краю города, на вершинах которых стояли дома, и фарфоровое голубое небо, и белое полотно, трепещущее на холодном весеннем ветру.

Чистое наслаждение холодным «уистлом» жарким летним днём из моего детства. В 1920-х Соединённые Штаты, даже Средний Запад, были местом блестящих возможностей. Вы могли стать гангстером, репортёром-алкоголиком, нервным биржевым маклером, иммигрантом, удачливым писателем. Возможности расстилались перед вами, словно богатая товарами витрина. В сумерках летнего вечера сидя с бутылкой «уистл» в руке на ступеньках черного входа, слушая, как мимо, по Юклид-авеню, проносятся автомобили, я чувствовал возбуждение и ностальгию по двадцатым у себя в паху.

Интересно, что из морфина выделили прекрасное противоядие от морфина, и, что оно способствует выделению такого же противоядия в теле. А из болезненного состояния наркомана получается повышенная чувствительность к впечатлениям и ощущения на уровне сновидения, мифа, символа. На пенисе, возможно, есть места полу гнилой и зачаточной плоти, отделённые от организма и дегенерирующие в более аморфные образования типа желе жизни, которое где угодно пустит корни и вырастит.

Видения западного Сент-Луис, движущихся фар автомобилей на Линделл-бульваре. Очень реальные на какое-то мгновение. Я в комнате с мягким освещением, может быть даже жилой. Ужасное чувство одиночества. Представляю себя стариком, парализованным или слепым, и вынужденным принять милостыню какого-нибудь родственника из Сент-Луиса. Я продолжаю писать, не надеясь на публикацию. Книжный рынок насыщен. Его насыщают штатные писатели, и работа осталась только рекламным агентом. Нет даже никого, кому бы я мог это почитать, так что, когда я знаю, что получилось хорошо, я чувствую себя ещё более несчастным, потому что тогда чувство одиночества ещё больше.

Возможно ли это — написать роман, основанный на реальных фактах из жизни Интерзоны или другого места?

Марв и Мохамед — эта «дружба», как говорит об этом Сэм:

— Как-то раз он принёс мне мёртвого воробья.

Скрипящий, продолжительный смех Марва, его косявые, лишённые изящества движения. Их нельзя назвать неуклюжими. Быстрый, но не суеющийся, он двигается по траектории возбуждёнными рывками, никогда не переходящими в размазанное изящество или наоборот — в настоящий тик.

А Мохамед — надутая глупая шляха до мозга костей. Он ценится у арабов из-за своей плотной толстой задницы. Толстая задница является у арабов очень желанной. Как по-восточному, и, в тоже время, тупо — перегон верблюдов на продажу.

Марв всё время твердит: «Я не против, когда он встречается с арабом, ты же понимаешь; но не дай Бог поймать мне его с другим американцем или европейцем. Лучшее ему не попадаться. В этом мире тебе нужно бороться за то, чего ты хочешь».

Я размышляю о том, есть ли у Мохамеда какие-нибудь желания, которые бы были по-настоящему его желаниями, исходящими изнутри, ищущими сво-

его исполнения? Но у них всё по другому. Их возбуждает ситуация, а не фантазия. Отчасти, это объясняется незамедлительной доступностью секса для арабов, что американцу, привыкшего к разочарованиям, определённым отсрочкам, затратам, хвастовству, понять непросто. Араб получает немедленное удовлетворение потому, что он готов согласиться на гомосексуальный контакт.

Как об этом говорит Марв: «Утро, три часа. Встречаются Ахмед и Али, один другого спрашивает: „Хочешь?“ — это стандартная реплика. Всё дело занимает пять минут». Считается, что тот который делает предложение, должен дать что-то другому. Несколько песет или сигарету. Что угодно. Вопрос формальности. Так что, возможно, у араба нет образа, который бы он искал, нет особенных желаний вообще. Женщина ли, мужчина — для него всё секс. Как еда. Как то, что ты делаешь каждый день.

Здесь я никого видеть особенно не хочу. Насколько далеко заходит дружба, я не могу уехать из страны. Так что нескольких людей я всё же видеть хочу. Ки-Ки — это десять минут ничего не значащих слов или секса, а большую часть времени я вообще не способен из-за фамильных драгоценностей, заложенных китайцу. Я должен либо прыгнуть, либо уменьшить дозу. Цены повышаются настолько, что я уже не в состоянии платить. С тех пор, как этому хуеву немцу нужно было появиться и покончить здесь жизнь самоубийством, каждый раз нужно покупать новый рецепт. Он что не мог сделать это где-нибудь в другом месте? Или как-то по-другому? Весь день до восьми вечера прождал две коробки.

Роман, состоящий из фактов такими, как я их вижу и чувствую. Откуда у него может быть начало и конец? Просто он какое-то время продолжается, а потом заканчивается, как арабская музыка.

Я слышу пение арабов, доносящееся из соседнего дома. Эта музыка плывет и плывет, вверх и вниз. Почему она им не надоедает, а они не заткнуться? Она

ни о чем не говорит, никуда не ведет. В ней нет ни эмоций, ни настроения. Звучит как хор мальчиков, распевających номера лотерейных билетов, или как табачный аукцион. Они, вроде бы, бьют в тамбурин, танцуют и поют. Периодически они достигают бессмысленной кульминации, и все пронзительно завывают. Затем на какое-то время останавливаются, видимо для того, чтобы передохнуть для следующей серии такого же воя. Это грустно, весело, дурно, приятно? Выражает ли она какие-то глубокие человеческие переживания? Если да, тогда я этого не чувствую.

Я размышлял о том, возможно ли найти музыкальную ноту, которая бы вызвала у слушателя оргазм, которая достигла бы позвоночника и коснулась бы длинного белого нерва. Напряжение нарастает в животе и длинными волнами врывается в тело, колебание кишечника достигает неожиданного крещендо. Вот так звучит арабская музыка. Механическое, без всяких эмоций, воспроизведение оргазма, действие на нервы, удар по внутренностям.

106

После укола, я отправился в «Багдад», встретил Лейфа и Марва. Хозяин художник-неудачник по фамилии Элгрэн. Если у него и было имя, то я его никогда не слышал. Высокий, широкий в плечах, коренастый, холодный и высокомерный. Когда я только приехал в Интерзону, он выставял некоторые из своих картин. Ничего впечатляющего. Виды Сахары, лучшие из которых напоминали голые обитаемые камни и пустыни пейзажей из снов Дади. Есть умение, он умеет рисовать, но у него нет на то никаких причин. Я нашёл, что в выражении собственных чувств он также скуп, как и в живописи. С ним я не мог разговаривать. Он живёт с молодым художником-арабом, фальшивым примитивистом. Элгрэн великолепен в качестве хозяина модного ресторана — та самая частота кристаллизованной гениальности. Он надеется, что забегаловка прославится на весь мир.

«Вчера вечером гардероб был завален норкой. В Интерзоне полно денег», — говорит он. Возможно, но

это не совсем так. Денег даст богатая старуха. У Элгрена нет и дайма, но он тип, который сумеет разбогатеть, если будет вести себя как богатый. И Элгрэн так безумен, что это ему поможет. У него параноидальное тщеславие. Он из тех людей, у которых ни для кого не найдётся доброго слова, а таким и должен быть хозяином людного ночного заведения. Каждому захочется быть исключением, единственным, кто бы ему нравился.

У него были арабские музыканты из «Риф» — комбо в составе трёх человек — и маленький мальчик, танцор и певец. Ребёнку было четырнадцать, но для своих лет он был слишком маленького роста, как все арабы. Ни волнения юности на лице, ни брожения, никакого пробуждения. Лицо состарившегося ребёнка, похожее на лицо куклы с обезьяньей восприимчивостью. Деньги, которые вы ему даёте, он кладет к себе в тюрбан, так, что они свисают ему на лоб. Что он делает с деньгами? У него очень громкий голос, эта хваткая, кружащаяся кукла мычит подъёмы и спуски арабской музыки. Он по-особому дёргает губами не только из стороны в сторону, но и вверх-вниз. Его сексуальная и стяжательская напористость слились воедино. С ним никогда бы не случилось такого, чтобы пойти с кем-нибудь в постель по иной причине кроме как из-за денег. У него практически полностью отсутствует молодость, вся сладость и неуверенность, и застенчивость юности. Он груб и бесстыден как старая шляха, и для меня представляет интерес только в качестве объекта сексуального удовлетворения.

В Интерзоне с ее переизбытком нейлоновых рубашек, фотоаппаратов, часов, опиатов, продающихся из-под прилавка, тебя охватывает ощущение кошмара. Что-то абсолютно злобное в состоянии полного попустительства. И новый шеф полиции там на Холме собирает досье — я подозреваю его в выполнении с этими данными невыразимых словами фетишистских упражнений.

Когда аптекарь продаёт мне ежедневную дозу юкодола, он ухмыляется так, словно я попался на наживку в ловушке. Вся Зона — ловушка, и однажды она захлопнется. Не резко, но постепенно. Мы будем свидетелями всего этого, но выхода не будет, некуда будет бежать.

Речь о полицейском напомнила мне о том, как тут мама Кики впервые угрожала мне пожаловаться в полицию на то, что я развращал её единственного ребёнка или что-то в этом духе. Я жил у Матти, и Матти клялся, что это правда, и повторял, что вокруг дома рыщет детектив; выяснилось, что это был не детектив вообще, а старый голубой, положивший глаз на Кики, и вся история была просто интерзоновской чепухой. Тогда же Антонио, вороватый португалец, пустил слух, что за мной следят. Надеется, что я свалю из Зоны.

Матти — это сутенёр, который любит свою работу, толстый, ещё не старый Купидон-гом. Он продолжает бросать на меня укоризненные взгляды в коридоре: «Ах, никогда ещё за пятнадцать лет в Интерзоне и до того не случилось со мной ничего похожего. Сейчас здесь уже две недели английский господин. С которым я мог бы делать хороший бизнес, но теперь за моим домом следят».

Фарс в спальне с полицией и матерью у дверей. Я пытаюсь втолкнуть Кики в комнату Марва, а он заявляет: «Поищи другое место для своих горячих мальчиков, Ли». Носовой платок со следами зякуляции — крайне изобличающая улика. Лучше всего его проглотить.

Я пишу это в больнице, в которой я снова лечусь. Типичная «интерзоновская» организация. Еврейская больница, испанский персонал и монахини-католички в качестве медсестер. Слава Богу, что как и всё испанское больницей управляют неряшливо и вяло! Ни сестёр, плещущих тебе в лицо по утрам тёплой водой. И не объяснишь никакой шведской сестре из Северной Дакоты, почему джанки терпеть не может воду у себя на коже. Я пробыл здесь уже десять дней, но ещё

ни разу не принимал ванную. Сейчас восемь часов утра, и примерно через полчаса начинается дневной обход. Кто-то стонет в комнате по соседству с моей. Исходящий из утробы ужасный нечеловеческий звук. Почему бы им не сделать ему укол и не заткнуть его? Это невыносимо. Я ненавижу слышать, как кто-нибудь стонет, не из-за жалости, но из-за того, что звук раздражает.

Это напоминает мне набросок, который я когда-то написал о джанки, мать которого умирает от рака, а он принимает её морфий, подменяя его кодеином. Заменять морфий кодеином ещё хуже, чем просто его воровать и подменять молочно-сахарным порошком. Порошок из-за шока — пустотой между разрывающейся от боли тканью, стремящейся к облегчению морфином, и полнейшей пустотой порошка может на диво возбудить тело — безусловно чистая доза. Но кодеин притупит боль, так что она превращается в жидкость и распространяется, заполняя клетки как серый туман, плотный, неподдающийся вытеснению.

— Теперь лучше? — стон прекратился.

— Намного лучше, спасибо. — сказала она сухо.

«Она знает, — подумал он, — что я никогда её не обману».

Возможно, что в таком тоталитарном полицейском государстве, как Россия, или в стране-союзнице было бы лучше. Худшее уже позади. Внешний мир знает все твои затаенные страхи — или желания? У тебя не перехватывает дыхание от неожиданных изменений давления. Внешнее и внутреннее давление уравновешены.

Так что я написал рассказ о человека, который поменялся с кем-то паспортом в турецких банях в русской зоне Вены, и не может вернуться обратно за железный занавес. Конечно же, не оконченный. За кого вы, чёрт возьми, меня принимаете.

Над Веной было светлое суровое фарфоровое небо, и холодный весенний ветер срывал просторное габардиновое пальто с тощего тела Мартина. Он почувство-

вал боль желанья в пояснице, как зубная боль, легкая и не похожая ни на какое другого ощущение. Он обогнул угол; Дунай ворвался в него сотнями светящихся точек, и он почувствовал всю силу ветра и, чтобы сохранить равновесие, наклонился вперёд.

Если охраны на линии нет, это будет не так уж и опасно, — подумал он. Они не смогут обвинить меня в том, что я шпионю в турецких банях. Он увидел кафе и вошёл. Огромная комната, почти пустая. Зелёные сидения как в старом пульмановском вагоне. Угрюмый официант с круглым в прыщах лицом и белыми ресницами принял заказ — двойной бренди. Он проглотил бренди одним глотком. На мгновение он почти задохнулся, затем его желудок успокоился в волнах теплоты и эйфории. Он заказал ещё бренди. На этот раз официант улыбался.

Какого чёрта, подумал он. Всё, что они могут — это вышвырнуть меня из русской зоны.

Он откинулся в кресле в предвкушении тёплых объятий пара, расслабление, превращение в жидкую амёбу, растворение в тепле, комфорте и желании.

Зачем проводить линию? То, что человек хочет делать, он рано или поздно сделает, в мыслях либо на деле... Но тебя никто не спрашивает. Третий бренди анестезировал центры, отвечающие за осторожность. У меня встал, и я хочу мальчика, и я собираюсь в римские бани, русская ли зона, нет. Очень жаль, что у нас не было голубого депутата, когда делили Вену. Мы бы вышли на баррикады защищать римские бани от русских.

Ему виделся легион голубых, построенных в боевые порядки, за баррикадами из шведской мебели «модерн». Они оборонялись и умирали с театральными жестами и патетическими возгласами. Все они были высочкими худыми неловкими педиками в Levi's и клетчатых рубашках с длинными желтыми волосами и голубыми глазами безумцев, орущими, орущими. Он вздрогнул. Возможно, мне лучше вернуться в отель и... нет, ради всего святого!

Трамвай был переполнен и ему пришлось стоять. Люди выглядели серыми, неприветливыми, подозрительными, избегали его взгляда. Они проезжали по Пратеру. Он был в русской зоне. Он помнил Пратер еще до войны: огромный парк, всегда полный людей и возможных знакомств. Сейчас это был сплошной пустырь из бульжника с гигантским колесом обозрения, смотревшемся на фоне холодного голубого неба уныло и угрожающе. Он вышел из трамвая. Кондуктор стоял, выглядывая из черной платформы, и наблюдал за Мартином, пока трамвай не повернул за угол. Мартин сделал вид, что ищет сигарету.

Да, вот и Римские бани, почти не изменившиеся с тех времен. Улица была пустынна. Мальчиков, возможно, тоже не будет. Но к нему подкрался молодой человек и попросил огня. Не очень, решил он, внутри я найду что-нибудь получше.

Он заплатил за комнату, оставив свой кошелек и паспорт в специальном ящичке.

(А это уже после того как ему подсунули чужой паспорт, арестовали и переправили в Будапешт или куда-нибудь еще дальше за железный занавес.)

Он познакомился с новым сортом свободы, свободой жить в постоянном напряжении и страхе на пределе своего внутреннего страха и напряжения так, что давление по крайней мере уравнивалось, и впервые за свою взрослую жизнь он понял значение полного расслабления, абсолютного наслаждения моментом. Он чувствовал себя живым всем своим существом. Силы, намеревавшиеся сокрушить его достоинство и существование как индивидуума, так очертили его, что он никогда еще никогда не был так уверен в своей ценности и достоинстве.

И он был не один. Постепенно он открыл для себя обширное подполье: коп, внимательно изучавший его бумаги, неожиданно превращался в друга. И он понял значение угрюмых отвернувшихся в сторону лиц в трамвае в Вене, научился не верить слишком скоро предложенной дружбе.

С тех пор как он покинул Запад, Мартин потерял пятнадцать фунтов. Теперь его руки покоились на животе, с животной настороженностью ощущали твердость и живость мускул. Шаги на лестнице. Два человека, незнакомца. Ему были знакомы шаги каждого, кто жил в пансионе «Единый мир». Он соскользнул с кровати. Передвигаясь с экономией и точностью, он передвинул тяжелый шкаф к двери. Пересек комнату, открыл окно и шагнул на пожарную лестницу, закрывая за собой окно. По шатающейся лестнице он взобрался на крышу. Семь футов до следующей крыши. Он огляделся. Ни дощечки, ничего. Он услышал, как отворилось окно.

Я должен прыгнуть, решил он.

(Продолжение следует)

Спал с КиКи. Он сказал, что никак не мог кончить, потому что сегодня ночью его измучили эротические сны обо мне. Это действительно меняет дело.

За обедом с Келлзом Элвинзом придумали номер. Мы похищаем Священный Черный Камень из Мекки и требуем за него выкуп. Бежим к вертолету, бросаем камень вовнутрь и, как огромная птица Рух, взмываем к небу, в то время, как арабы бегут за вертолетом, тянут к нему руки и извергают проклятия. (Но возможно камень слишком большой, чтобы сдвинуть его с места?)

Ли сидит с шприцом, торчащим из левой руки, размышляя над тайной крови. В некоторые вены можно мазаться в два тридцать после обеда. В другие — ночью; вены пропадали и появлялись без системы. Ли обнаружил, что чутье редко подводило его. Если правой рукой он протянулся за шприцем — это означает, что двигаться нужно в левую. Его тело знало в которую вену можно сделать укол. Он позволил телу захватить себя, как в автоматическом письме, когда он готов вступить в нужный момент.

В медной подставке на ночном столике горела одинокая свеча. КиКи и Ли сидели рядом в кровати, простыня наброшена на их тела, прикрывая их выше

пояса. Они по очереди передавали друг другу сигарету с кейфом, глубоко вдыхая и задерживая дыхание. У КиКи был доброкачественный опоясывающий лишай, на спине его был огромный муравейник, и железы под мышками опухли. Ли нежно пробегал пальцами по воспаленным областям, задавал вопросы, время от времени тяжело качал головой. Горела и коптила свеча, низкие голоса, придавали сцене характер ритуала...

По поводу истории с молодым человеком в Испании, приговоренного к повешенью военным советом (в Испании государственные дела рассматриваются военными):

Антонио сел на железную полку, покрытую старыми газетами, которая служила ему кроватью. Он лег на бок и подтянул колени к подбородку, руки прижаты к гениталиям.

Военный совет! — подумал он. — Это дополняет картину варварского отвратительного ритуала как у индейского племени. Они пытались поймать меня с того самого момента, когда узнали о моем счастливом рождении. Но у меня было чуть зверя к ловушкам — пока они не нашли нужную приманку. Это была не ловкая западня, и я мог бы разглядеть петлю под листьями в тот первый вечер в Тіо Рере. То есть я бы мог разглядеть, если бы не смотрел по сторонам...

Постепенное затемнение картинки... Обратный кадр... Музыка (я, определенно, знаю толк в ТВ и Голливуде).

Для Тіо Рере, которое открывалось, когда бары обычно закрываются, в час, это было рано. В баре никого. Я заказал коньяк. Перед музыкальным автоматом стоял парень. На нем была одна из тех летних рубашек с дырками, белая рубашка, торчавшая из штанов. Через рубашку в ореоле безобразных искусственных цветов — хлорофилловые зеленые, красные и оранжевые синтетических безалкогольных напитков, пурпурные цвета залов флюоресцентных коктейлей, мертвенно-бледные розовый и голубой предметов

культы — мне открывалось худое юное тело, полное животной настороженности. Он наклонился перед музыкальным автоматом, одно его бедро в стороне, лицо склонилось, просматривая названия песен, в его позе вся неловкость и грация, и прелесть подростка.

Он выглядит как реклама чего-то, — подумалось мне, но это не совсем то, что я имел в виду. В юной фигуре, склонившейся над музыкальным автоматом, была какая-то ускользавшая от меня значимость. Затем он неожиданно повернулся. Я слышал, как мой рот с острым шипением всосал воздух. У него не было лица. Это была масса шрамов из-под ножевых порезов...

Я знаю способ разрешить противоречия, соединить фрагменты, несвязанные проекты: я просто запишу впечатления Ли об Интерзоне. Фрагментарное качество работы присуще методу и разрешит себя там, где это необходимо. А это означает, что я включаю автора — Ли — в роман и этим отделяю себя от него так, что он превращается в другого персонажа, главного конечно, занимающего особое положение, но не имеющего со мной ничего общего. Это может принять форму бесконечного последовательного расположения, но самим действием написания о герое, изображающем меня, я навсегда останусь наблюдателем, но не участником.

114

Меня охватывает чувство вины, когда я это пишу, в то время, как я по яйца должен быть в работе. Но приятель подбадривает: «Не все потеряно...» Ужасающее видение удушья под слоем мочи и говна, и обрезков ногтей, и ресниц, и соплей, выделенных моей душой и телом, поддерживаемых как ядерные отходы. «Убирайся ради всего святого!» Из писем роман я уже сделал. Я всегда смогу засунуть один куда-нибудь, заделать им дыру, ну ты сам знаешь...

Я слышу, как сердитый разжалованный лейтенант-командор курсирует по коридорам. С него сняли звезды и срезали полоски но к сожалению пренебрегли тем, чтобы повесить его утром или в другое время. Ссылка, на тот случай, если вам посчастливилось

не знать, относится к «Повешенью Дэнни Дивера» Киплинга. Вместо номера юмориста вам нужно послушать гнилой затянутый в корсет тенор, поющий «Повешенье Дэнни Дивера», а затем в качестве непрошеного выхода на бис — «Деревья».

Как я уже сказал, ебанный экс-коммандор заклинает меня глупостью, так что я порой и сам произношу эти ужасные многозначительные пошлости. Вчера вечером я заявил ему прямо — Господи! я больше не собираюсь терпеть его дерьмо: «Ты разве не знаешь о Джо Ривзе? О, я слышал — ему нравятся мальчики! Ты когда-нибудь слышал о чем-либо подобном, Билл? Хи-хи-хи». Вращая глазами на Келлаза.

Так что с меня хватит. И печатная машинка снова наобнулась. Я жертва хуевой машинки — человеку по сути своей не техническому, каким являюсь я, не следует покупать комиссионные механизмы — но перед тем, как попросить у командора о помощи, я буду писать кровью и иглой для подкожных инъекций.

Вмазанный метадоном. Я скупил весь юкодол Интерзоны и юга Испании. Как я уже сказал — вмазанный, неспособный, скорчившийся от бестелесного безграничного желания. Встреча с тапана КиКи. Предполагается, что я снова буду лечиться. У КиКи моя одежда и деньги, и он скупно выдает мне ампулы

Я сделал заначку. С бельевого веревки свисают брюки, degage в грязном свитере как по возвращении с тенниса или прогулки по горам, наконец-то удалось обналчить один из моих особых дорожных чеков. Неладные даже мои дорожные чеки, вызывающие подозрение и тревогу. Никто не считает их поддельными или фальшивыми, вы же понимаете. Просто чувствуется что-то неладное со мной.

Толстая светловолосая тварь-сержант бросается в ноги худому уродливому рыжеволосому карманнику: редкие рыжие волосы, серая фетровая шляпа джанки, от которой, когда он ее снимает, на лбу остается полоса — такая тесная. Так вот, этот коп выходит из-за кафедры своего стола падает ниц перед этим тощим

низкорослым средних лет карманником, известным как Рыжий из Бруклина, чтобы отличить его от другого Рыжего, у которого нет такого конкретного и определенного места жительства. Рыжий шарашиться назад, ожидая, что сейчас его будут обыскивать.

«Рыжий!» ужасный звук поражения, грязное сражение принято и проиграно в душе такой же угрюмой, что и тюремная камера. «Рыжик!» Он с поцелуем кусает ботинок Рыжего. Рыжий снова отходит.

«Лейтенант! Я ничего не сделал, только высунул руку из кармана».

Лейтенант делает прыжок словно огромная жаба-альбинос. Он протягивает к вору свои руки и хватается за отвороты пальто.

«Лейтенант! Послушайте меня. Я ничего не сделал».

«Рыжик!» Он обхватывает Рыжего своими жирными но крепкими руками, сжимая обе руки Рыжего. Одной рукой он обнимает Рыжего за шею, грубо и быстро целует его.

«Рыжик! Как я хотел тебя все эти годы. Я помню твой первый привод сюда с Доланом с Пятнадцатой. Только то была не Пятнадцатая, а Девятая...»

Рыжий выдавливает из себя ужасную кривую осторожную улыбку. Коп свихнулся. Мне нужно вести себя спокойно... спокойно...

«Сколько ночей я вот так проплакал по тебе, Рыжик».

«Ух-ты, полегче, сержант. У меня геморрой».

«Ты ни с кем не капризничал, не так ли? Я думаю, сможем ли мы воспользоваться этим половым воском?» Это последнее предложение сухим голосом практически полицейского.

Только что кто-то умер в больнице несколькими этажами ниже. Я слышу, как что-то кричат, и плачут женщины. Это старый еврей, который досаждал мне своим стоном... Ладно, уберите этот труп отсюда. Это имеет депрессивное действие на других пациентов. Здесь не похоронное бюро.

Какие уровни и сдвиги во времени участвуют в написание данных записок: воссоздание прошлого, незамедлительное настоящее, которое обуславливают выбор материала, наступающее будущее — все наваливается на меня сразу, сидящего здесь на ломках, потому что вчера вечером и сегодня утром мою дозу метадона урезали.

Я спустился к директору и проходил мимо палаты умершего. Его лицо задернуто простыней, две женщины шмыгают носом. Я видел его несколько раз, даже сегодня утром за полчаса до его смерти. Отвратительный лилипут с круглым животом и тощей грязной бородой, всегда стонущий. Как тосклива и убога, и бессмысленна его смерть!

Даст Бог — я не умру в этой долбаной больнице! Пусть я умру в каком-нибудь *louche* быстро: нож в печенке, мой череп разбит бутылкой пива, пуля в позвоночнике, моя голова в слюне и крови, и пиве, или на половину в писсуаре, так что последнее, что я почувствую, будет острый аммиачный запах мочи (я помню в Перу пьяница умер, когда мочился. Он лежал там на полу, его волосы слиплись от мочи. Писсуар протекал, как все южноамериканские писсуары, и пол был покрыт мочой на полдюйма), или пусть я умру в индейской хижине, на песчаном берегу, в тюрьме или один в мебелированной комнате, или где-то на земле или в переулке, на улице, на платформе метро, в разбитом автомобиле или самолете, мои дымящиеся внутренности разбросаны по разорванным кускам металла... Где угодно, но только не в больнице, не в кровати...

Это настоящая молитва. «Если вы помолились, это может случиться». Конечно, умри я в свои ботинках — это было бы типичным для моего поколения. Дэйв Каммерер заколот своим мальчиком, Тайгер Терри убит арабским львом в ночном клубе приграничного городка, Джоан Берроуз застрелена пьяным идиотом — мной — во время игры в Вильгельма Телля, когда я пытался попасть из пистолет в стакан, стоящий у нее на голове, Каннастра погиб, выбираясь из движущейся

щегося метро за еще одним глотком выпивки — Его последними словами были: «Тащите меня обратно!» Его друзья попытались затянуть его назад вовнутрь, но его пальто порвалось у них в руках, и он ударился о столб Марви умер от передозировки героина

Я вижу Марви в дешевой мебелированной комнате на Джейн-стрит, где я его одно время обслуживал — звучит вроде как грязновато, да? — Я хотел сказать: продавал ему капсулы с гарилом, полагая, что будет лучше приносить их ему в комнату, чем встречаться с ним где-нибудь, в черных туфлях на босую ногу в декабре он выглядел жалко. Как-то я принес ему капсулу, и он перетянул себе вену. Я смотрел за окно — это не для слабых нервов смотреть, как ищут вену. Когда я повернулся, он уже умер, и кровь бежала обратно в пипетку, наполнившаяся кровью она торчала у него в руке, как стеклянная пиявка — Я вижу его там на кровати в мебелированной комнате, медленно синееющим вокруг губ, пипетка, вся в крови, торчит у него в руке. За окном темнеет. Гаснет и зажигается вновь неоновая надпись, гаснет и зажигается, каждая вспышка вырывает из темноты его лицо и освещает его отвратительным красно-фиолетовым сиянием — «Потребляете гарилом от Гимси. Он самый лучший!» Марви не нужно будет искать героин завтра. Он нашел свою Большую Вмазку.

— Лейф Датчанин со всеми руками утонул в Северном море — все равно он был занудой. Рой совершил ошибку и повесился в Катакомбах — он всегда приговаривал: «Я не понимаю, как стукач может ужиться сам с собой». А Пи Холт, самый близкий друг моего детства, перерезал яремную вену о разбитое стекло... его смогли вытащить из машины уже мертвым. Некоторые умерли в больнице или на станции скорой помощи, но у всех что-то случилось с ними до того. Фостер, один из моих друзей-антропологов в Мексике, умер от полиомиелита. «Он умер на пороге», сообщил позже доктор в больнице. «Мне хотелось ему сказать: „Почему бы вам не пойти прямо в похоронное

бюро, не выбрать себе гроб и не забраться туда? Времени у вас осталось как раз на это“».

У меня уже были проблемы с испанским метадоном. Я часто покупал коробки с одной или двумя пустыми капсулами. Случайность? Испанская небрежность? Случайность. Эти испанские заводы заводнили Южную Европу метадоном.

Что безопаснее — положить пустую ампулу в каждую десятую или какую-нибудь коробку или заливать разбавленную раствор во все? Трудно сказать. Люди, скорей всего, будут жаловаться на пустышки, но для них легче предоставить алиби. Случайности могут происходить, но они не должны происходить на метадоновой фабрике. Не такие во всяком случае. На разбавленный раствор жаловаться будут вряд ли, но могут возникнуть сложности, если кто-нибудь, от кого не откупились, или с целями политическими, начнет целенаправленный анализ продукта. Тут алиби предоставить будет трудно. А им подавай больше денег. Вчера вечером я задвинулся обыкновенной водой. Это не остроумно.

Человек становится раздражительным. Его мальчик громко требует звездный сапфир: «Папа, ты хочешь достать лучшее для меня». Его блондинчику так давно уже хочется выполненный по спецзаказу «Даймлер», что возражения здесь не уместны — только участие. Когда у тебя настоящий класс, ты смотришь только вперед. Удары звучат неритмично, какой-то гражданин выгрузил на него засоленный урановый рудник. (Урановый рудник — это новая мультка. Сажает трубку ядерных отходов в рудник, так что у счетчика Гейгера просто срывает крышу. Или можно воспользоваться приспособленным счетчиком Гейгера с электромотором, встроенным внутри, так что можно замедлять или ускорять его.)

Мои мысли позже обратились к преступлению. А из всех видов преступлений шантаж представляется мне наиболее удовлетворительным с художественной точки зрения. Я хочу сказать... Момент Истинны, когда ты

видишь крушение всего его блефа и пустых угроз, и маски, когда ты знаешь, что он попался. Его следующие слова — когда он сможет говорить — будут: «Сколько вы хотите?» Это должно быть очень вкусно. Из дела как это может выгореть и секс.

Например, парень сталкивает своего мальчика с балкона, и заявляет, что это несчастный случай: парнишка поскользнулся на плевке Кей-Уай и катапультировался через поручни. Свидетелей нет. Он, похоже, чист. Тут высаживается Вилли Ли.

Ли. Видите ли, м-р Трокмортон, я на мели.

Трокмортон. На мели! Не знаю почему вы приходите ко мне с этим вопиющим открытием. Это совершенно безвкусно. У вас совсем нет гордости?

Ли. Мне казалось, что вы могли бы помочь американскому соотечественнику и купить у меня эту безделушку. (Он показывает на немецкий шпионский фотоаппарат, прикрепленный к мощному полевому биноклю для фотографирования на большом расстоянии.) Это чего-то стоит.

Трокмортон. Отнесите это в антикварную лавку. Я не интересуюсь фотографией.

Ли. Но это не обыкновенная безделица. Взгляните с балкона... Скажите, не тот ли это балкон, с которого свалился паренек?

Трокмортон холодно смотрит на него. Ли заикается, притворяется, будто он смущен.

Ли. Теперь я надеюсь, я ничего такого не сделал и не сказал. Это должно быть было ужасным шоком для вас — потеря друга... и такого хорошего друга... Что я хотел сказать, это что с того балкона вы с трудом можете рассмотреть мою берлогу в бедной части Мединны, но если бы я фотографировал с того балкона, на фотографии было бы видно мою квартиру и грязные окна, и разбитое оконное стекло, отремонтированное с помощью клейкой ленты...

Трокмортон (поглядывая на часы). Мне не интересно. Сейчас, если вы меня извините, у меня назначена встреча...

Ли. Я сожалею, что отнимаю у вас время... Как я сказал, вы могли бы сфотографировать мое жилище, или я мог бы фотографировать с другого конца делать фотографии вашего места жительства. Я сделал несколько, м-р Трокмортон... Надеюсь, вы не сочтете меня самонадеянным. (Он достает несколько фотографий.) Я очень хороший фотограф. Может бы вам хотелось бы купить некоторые из этих фотографий вашего дома и того балкона, которые сделал я...

Трокмортон. Не могли бы вы покинуть дом.

Ли. Но, м-р Трокмортон, одна из фотографий очень интересная. (Он держит фотографию в трех дюймах от лица Трокмортонна. Трокмортон отводит лицо назад. В булькающем звуке его горла умирает крик ярости. Он подходит к креслу и бросается в него, как старик, у которого удар.)

Ли. Как поется в песне, мистер Трокмортон, вы начинаете видеть свет... Как вас по имени, дорогой? (Он садится на подлокотник кресла Трокмортонна и игриво ерошит его волосы.) У меня было что-то типа предчувствия, что мы познакомимся друг с другом по-лучше... будем чаще видеться.

У меня такое чувство, что свою подлинную работу я не могу начать или, на более глубоком уровне, никогда не начну. То, чем я занимаюсь, — всего лишь отговорка, увертка, заметки. Я гуляю по берегу озера, боясь прыгнуть в воду и притворяясь, что изучаю флору и фауну — два эти старых мешка. Я должен предоставить себя, каждую ебаную клетку себя, в распоряжение этой работы.

Господи! Звучит как посмертный биографический материал, письма Ли его лучшему другу и агенту, который отвечает, что работа должна развиваться сама по себе и должна выявить мне столько себя самой насколько я смогу интерпретировать и записать. Я не должен ничего не делать, кроме как действовать на прямую без страха и без оглядки.

«В то время творческая энергия Билла находилась на спаде. Он переживал острую депрессию. „По-

рою, — он писал в своих письмах агенту, — „я задыхаюсь“, или: „Я должен не забывать дышать“.

Но фрагментарное несвязное свойство его работы присуще самому методу и разрешит себя ровно на столько, насколько это необходимо. Роман о Танжере будет состоять из представления Ли о Танжере вместо набившего оскомину притворства романиста, что он общается со своими героями и ситуациями напрямую. Это значит, что автора я включаю в роман.

Потери среди гражданского населения этих книг по боевому дзюдо и партизанской войне. Коктейль-вечеринка в провинциальном клубе: бывший в дни своей молодости мощным атлетом мужчина, все еще сильный, хотя и располневший, хмурый седовласый блондин с опущенными уголками рта, стоит перед другим мужчиной, разглядывая его с глупой воинственностью.

«Бовард, я мог бы убить тебя за тридцать секунд. Нет, за десять. У меня есть книга по боевому дзюдо... Вот так», он наклоняется к Говарду, целясь коленом ему в спину. «Своим средним пальцем левой руки тебе в правый глаз, а коленом — по твоей печени, а правым локтем я ломаю тебе адамово яблоко и ногой наступаю на подъем ноги...»

Объяснения с *críada*. Через полчаса после того как наступило время завтрака, я звоню и прошу завтрак, и глупая сучка заявляется с таким обиженным и удивленным видом, как будто я просил чего-то сверх положенного.

Я с раздражением заявляю: «Послушайте, сеньорита (в английском нет эквивалента для сеньорита, что означает молодая, хорошо воспитанная, нетронутая девушка, то есть девственница; даже к шестидесятилетним шлюхам обращаются сеньорита из вежливости, особенно если хотят чего-то от них получить, врубае-тесь, я даже заподозрить не смел, что она — не сеньорита)», так я говорю: «Послушайте, сеньорита, завтрак в восемь. Сейчас восемь тридцать».

Я не из тех худосочных жизнерадостных американцев, которые хотят нравиться всем вокруг. Меня не волнует, если люди меня ненавидят; я допускаю, что таких немало. Важным вопросом является то, что они могут со мной сделать. Мои привязанности, относящиеся только к некоторым, не распространяются на весь ад с мерзким намерением умиротворить обиженное бесполезное дерьмо.

Конечно они могут перекрыть мне каналы получения джанка. Один раз так и случилось, и я жаловался громко, долго и дошел до главного злодея этой жалкой ловушки. (Я один из немногих их клиентов, которые платят наличными. Заяви я, что я наполовину еврей, меня бы содержали бесплатно.) Я жаловался на тот случай, если вдруг кто-то здесь подмутил ампулу, а мне вколол воду, хотя содержание ампулы возможно урезали прямо на фабрике, как обрезают еврейских детей, всех детей в наше время. Есть здесь одна сиделка, которая похожа на джанк, но с женщинами и китайцами никогда не скажешь наверняка. В любом случае как-то ночью он вколола мне воду, и я больше не хочу, чтобы она смотрела за мной

Я, в общем, смакую как старый коньяк, покручивая у себя на языке бессильную злобу людей, которые не могут, не способны отплатить той же монетой. А это значит, смотрите, что я был прав, когда опускал их, если они оказались таким дерьмом. Моя эпитафия по старине Дэйву Барыге, умершему в прошлом году в Мексике, Д.Ф.: «Он похож на джанк, поймавший в своих тяжких порывах благосклонности еще одного».

Дикое место. В моей палате сейчас шесть человек: моют пол, вешают зеркало, выносят одну кровать и вносят другую, вешают занавески, ремонтируют выключатель, все перекатываются друг через друга и вопят по-испански и по-арабски, и только элегантный до тошноты электрик снисходит до того, чтобы говорить по-французски: в Интерзоне это признак классовой принадлежности — говорить только по-французски. Спрашиваешь по-испански отвечают по-французски,

что должно указать тебе на твое место. Граждане, заявляющие, что «я говорю только по-французски», — самые жалкие козлы в Зоне, все претенциозные, хрупкие, с отвратительной английской коннотацией фальшивой элегантности нижнего среднего класса, и обычно без гроша. Электрик похож на шагающий панцирь героя, под которым ничего нет. Я вижу какого-то райхианского аналитика, преуспевшего в раскрытии геройских лат. Аналитик отходит назад, с проклятиями, оглушенный разрушенными иллюзиями, дрожащей рукой прикрывая глаза: «Верните все на место! Ради Бога, верните на место!»

Я познакомился с Марком Брэдфордом, драматургом. Он говорит: «Я не расслышал вашего имени.

«Уильям Ли».

«О! — Он отпускает мою руку. — Мда... уф, прости». На следующий день он уехал из Интерзоны.

Уильям Ли — зловеющий объект для человек в центре успеха. Вы знакомитесь с ним, когда вы катитесь вниз. Он никогда не появляется там, где идет активность. Когда появляется Уильям Ли, ветер с пустыни гуляет по опустевшим барам и гостиницам, нефтяные вышки обвивают лианы джунглей. В прозрачной конторе сидит сумасшедший агент по продаже недвижимости, его недвижимую изуродованную гангреной ногу грызет голодный шакал: «Да, сэр», говорит он. — «объемы строительства растут».

К своему протезу, молодому поэту-арабу, обращается преуспевающий композитор: «Собирайся, Синичка. Я только что в Сосо Чисо видела Вилли Ли. Вот он и в Интерзоне».

«Почему, он опасен? Почему с ним нельзя встречаться».

«Встречаться с ним... я думаю не следует. Дело в следующем: культура оставляет свой отпечаток — Майя, северо-западное побережье, северная часть Тихого океана — возможно один человек или небольшая группа индивидов, явившиеся создателями оригинальных архетипов. После чего архетипы принимают

ся в неизменной форме в течении тысячелетий. Так, в Ли проступают его собственные архетипы. Все. Кафе Интерзоны уже воняют гниющими, отторгнутыми, личиночными архетипами. Ты обратил внимание на этот вибрирующий звук в Сосо? Это означает, что кто-то рядом работает на созданием архетипов, и тебе лучше убраться прямо сейчас... Слушай, я преуспеваю, потому что я вожусь с существующими архетипами. Если я приму или просто познакомлюсь с архетипом Ли... и его привычками!!!» Композитор вздрогнул. «Только не я. Собирайся, у нас встреча с Коулом на Капри».

Я просто загорелся... Очень опасная партия, мисс Грин. Всего лишь одна долгая затяжка от аномального соска у нее подмышкой, и ты убит, Попс... Как-то в Мексике я покурил смешливой травы и сел в автобус. У меня был маленький пистолет, двуствольный «ремингтон» 41 калибра в кобуре, пристегнутой под ремнем так, что пистолет был нацелен прямо в место соединения тела с ногами... Неожиданно я почувствовал, как пистолет снимается с предохранителя, ощутил запах пороха, тление одежду, пережил ужасный парализующий шок, затем капли крови, стекавшие на пол как моча... Позже я проверил пистолет и обнаружил, что полу-замок был неисправен, и такое случайное разряжение было вполне возможно.

Я вижу как Антиамериканская комиссия добралась до Криса Гудвина. Я его знал, дорогуша. Высокопоставленный Подонмист с партбилетом. Пидар, конечно. Он женился на трансвестите еврейке Лиз, которая работала в Sundial, том левацком таблоиде. — Вы помните лохмотья, свисавшие, когда их ангел, албанский кондомовый магнат, оказавшийся английским джентльменом знаменитый Торговец Сексом, устроивший скандал в Международной Команде, когда на костюмированный бал у Дьюка де Вентра он явился в виде самобеглого члена, одетого в огромный презерватив — разорился и застрелился во время Второй Мировой войны. Не мог достать резины, Альчибад Линтон, Хьюстонский король жевательной резинки, отбил у него

мексиканский каучук — может быть эти длинные вставные слова следует перенести в примечания в конце страницы. — Я не знаю, почему Крис женился на ней. Возможно из-за внешней стороны вещей, понятия не имея об их действительном содержании... Я тебе уже говорила о своей карикатуре в *New Yorker*? Один жеманный кривляка из Государственного департамента приходит к другому. По ним ползают дети, гость говорит другому педикю: «Говорю тебе, дорогой, эта ширма может зайти слишком далеко». — Как бы то ни было, его жену Лиз в Пакистане убили курды — я говорю не о породе птиц, а о разновидности гималайских бандитов. Ну Крис возвращается с убитой женой в джипе и говорит: «Бедняжка Рэчел. Она была душой вечеринок. Курды, понимаешь». Да, курды. Он ликвидировал ее по приказу из Москвы. На самом-то деле, она «приняла образ жизни приспешников аристократии» и, в конце концов, «стала грубой и оголтелой» — я цитирую Ультимагум Москвы. Милтону Берлу или любому другому, кто может пожелать этого, я оставляю ссылку на Турдов...

Кроме того улучшения антиэнземной зубной пасты, отгоняющей лейтенантов н. к. (низшего класса)... репеллент против голубых с запахом гниющей плоти гомосексуалиста. (У антиакульевого репеллента, разработанного ВМС, запах как у гнилых акул. Отобьет аппетит даже у акулы.)

Разжалованный командор потерял свои трусики, как он их называет, свою ракушку, которая всего лишь скрывает его облачение. То есть, прислуга утерала его трусики в прачечной, и он скандалил с ней по этому поводу всю прошлую неделю.

Сегодня прислуга показала мне трусики о словами: «Они его?», указывая на его номер, на что я сказал: «Я допускаю, что да... они определенно не ваши».

Типичный разговор в Интерзоне: «Дорогая моя, дай рассказать тебе, где можно купить самые вкусные пирожные. Пончик — тесто вокруг, крем внутри и все вываляно в сахаре... Прямо напротив платформы с

автобусами на Мекку на оптовом рынке. Пирожные готовит очень привлекательный мальчик, который, между просим, свободен...»

С гор спускаются невероятно отвратительные и звероподобные женщины с вязками хвороста за спиной. Они — берберские женщины, без паранджи, с синей линией татуировки, спускающейся по впадине с переносицы до верхней губы, с нижней губы до подбородка. Линия по впадине продолжается с подбородка до пизды? Боюсь, что придется собрать это под общим заглавием «Таинства Востока». Наш исследователь — пижон... Я замечаю, что у многих из старых хворостяных животных выедены носы.

Два сноба проходят рядом с безносыми женщинами: «Ах, эти люди теряют свои носы по причине сущей неосторожности».

Интерзона кишит педофилами, типами, повернутыми на малолетках. Я этого не понимаю. Я заявляю, что всякий, не способный подождать до тринадцати, дегенерат.

Вышеприведенные записи для папки под названием В. П. — вставить позже... Здесь начинается рассказ о богатом писателе, на которого работает целый персонал, выполняющий такую ручную работу как «вставка». У меня группа мужчин и женщин «Мои беспокойные хомячки» — так я называю их... Так писатель — тиран с садистскими наклонностями, врубаетесь? Я прихожу и контролирую выполнение работы, создаю тошнотворную фикцию того, что они самые настоящие хомячки и должны носить костюмы и по команде выстраиваться на поверку... «Салли Хомячок, Марвин Хомячок», и т. д., и т. п.

«И смотрите, чтобы вас не привалило деревом», — по-дружески обращаюсь к ним, поднимая палец.

Что-то вроде ужасного *tour de force*, как книги Энтони Бёрджесса. Никого не волнует то, через что должны пройти люди, пишущие книги для детей. Я открыл, что один детский писатель является самым

настоящим героем произведений Кафки. Шутки ради он решил спрятаться в магазине для детей.

Например, есть рассказ о Старом Сварливом Пне, который заявил, что ему нужны личности-заместители — Замы, как он их называет — чтобы сохранять свою душу в чистоте и выполнять другую ручную работы на «ферме».

«Просто поставь здесь свою подпись, мой дорогой друг. Ты никогда об этом не будешь жалеть до конца своей жизни».

Но бедняга Альберт-лесоруб пожалел об этом тут же, как он добрался до своей неоплаченной квартиры, то есть до квартиры, которую уже сдали внаем кому-то другому, или срок аренды которой уже истек, так что ты можешь побыть здесь еще пару дней, пока не будут готовы все бумаги, необходимые для твоего выселения. Альберт прижил в таких квартирах всю свою жизнь.

Да, даже несмотря на то, что он не читал пункта 9(ф) договора, который можно расшифровать только с помощью электронного микроскопа и вирусного фильтра, Альберт каким-то образом узнал, что он здорово сделал, что продался Старому Пню, которого прозвали так за то, что он отрубил себе все пальцы кроме двух, чтобы удивить своих избирателей: «Они снова вместе!» с радостью заявлял он, потирая своими дефектными руками. «Я их соединил!»

«Я просто не знаю, — выразил свое мнение Альберт. — Сейчас Старый Пень приветлив, и отрубил для меня свой большой палец... Не то, чтобы все Замы мог похвастаться тем, что у них есть большой палец старика. У некоторых из них ничего нет».

Рекламный ролик для телевидения

— А вот и они — наши мальчики, оба голые в джунглях, очищающиеся под огромной луной, такой близкой, словно большая мягкая светлая задница, ты

врубаешься? Кажется, что стоит только приподняться, и ты достанешь её, а вокруг — мириады звуков ночных джунглей. В объятиях друг друга они нашли Потерянный Город.

— Хорошо, а москиты их не кусают? — в несовершенный синтаксис эти ляпсусы внесены М.А., Режиссером. Он начинает очередную свою легенду, врубаешься? — А не просыпаются ли они утром, а их задницы слиплись так, что им даже не просрать? Ни в коем случае. Они просыпаются среди магии утренних джунглей. Их ласкает лёгкий прохладный бриз, нежные пальцы которого пробегают по их юным стройным и крепким телам. В полусне они начинают ритмически двигаться, сжимаясь...

— Теперь, ребята, в дело вступает Призовой Комитет. Они могли подключиться к вопросу ещё вчера вечером, но Цензор-координатор свалился с катера при виде прочившего в укрытии индейского мальчика, а кандиру удрал вверх по его члену, и, чтобы извлечь оттуда маленького проказника, пришлось поджарить колдуна. Кандиру — это маленькое, похожее на угря существо, длиной два дюйма и диаметром четверть, которое забирается к вам на член, в задницу или пизду женщины, если не находит ничего другого, *in situ* удерживаясь с помощью усиков. Неясно, чего оно этим добивается, но пока ещё не нашлось ни одного бедняги, который бы продвинулся в исследовании жизненного цикла кандиру на натуре.

— Почему на них не нападут воюющие орды? Их защищает любовь? Хуя! Они пользуются новым репеллентом Дюпон В-22, вот почему. Вы тоже можете с удобством срать или трахаться на всей протяженности от джунглей Мадагаскара до арктических топей Лапландии, где, как в британском пабе, москиты впиваются вам под самый Дамоклов меч. — Пожалуйста потрапывайтесь время...

Антонио Португальский Попрошайка

Португальский попрошайка вошёл и подсел к Ли. Ли мельком взглянул на него и поздоровался: «Привет, Антонио. Присаживайся». Он проигнорировал исходившее от Антония излучение требования денег и продолжал писать. Антонио поджал губы и вздохнул. Всплеснул своими крохотными пурпурными от недостаточного кровообращения ручонками. Он заказал себе стакан воды, своим обезьяньим профилем повернувшись к официанту, игнорируя его холодный презрительный взгляд.

— Билл, я не хочу докучать тебе трагедиями своей жизни, но жизнь европейца — это болезни и голод, — закашлялся он. — Американцам этого не понять. Вы — глупые, вульгарные, механизированные... Как мы вас ненавидим, — тут он похлопал Ли по руке и улыбнулся, обнажив свои грязные дешёвые искусственные зубы. — Не тебя конечно. Ты не такой, как все американцы. У тебя хоть, по крайней мере, есть сердце.

— Да. И печень, и лёгкие, и желудок. Что это ты такое замысли? Как будто я не знаю...

Антонио не слушал. Он смотрел в пространство, лицо его исказилось от обезьяньей ненависти.

— Да! Для вас, американцев, я — всего лишь маленькая смешная обезьянка, готовая за грош сделать маленький грязный трюк. Даже меньше чем за грош... Помню, когда мне было четырнадцать лет, я мастурбировал двух пьяных американцев, сидя по столом в кафе на одной центральной улице в Лиссабоне: «Кажется, спор выигрываю я, Джо». — «Ага, кажется ты. Ты теперь всё увидел». И один из них протянул другому пачку эскудо, на которые целый год смогла бы прожить португальская семья. «Сколько это нормальными деньгами, Джо?» И он вот так взял монету, — Антонио сделал отвратительный жест, сжав вместе большой и указательный пальцы. Ли уже привык к Антонио, но иногда этот человек его шокировал, шокиро-

вал какой-то неопишуемой злорадствующей чудовищностью.

«Ну что-то около одной пятой цента».

«Ты думаешь, это много? Я не хочу испортить его».

«О, чёрт. Мог бы и облагодетельствовать немного».

«Да всё дело в том, что маленький урод может умереть в конвульсиях благодарности прямо тут, у стола. У тебя нет чего-нибудь помельче».

«Минутку. Вот, нашёл. Самая маленькая. Брось её туда, в навоз».

Американские акценты Антонио имитировал прекрасно, так, словно это была запись, только смешанная. Произношение Бруклина и Чикаго, Калифорнии и восточного Техаса, штата Мэн, юга; несуществующие обладатели голосов на мгновение появлялись у стола и исчезали, как в ускоренной киноленте, где изображения накладываются друг на друга.

Официант опустил на стол стакан воды, и несколько капель попало Антонио на рукав. Антонио со злостью взглянул на официанта, который смახнув со стола, повернулся кругом и ушёл.

— Вы желаете благодарности. Мы зубами достаём монету из навоза, а потом, когда годно стекает по подбородку, должны поцеловать ваш красивый добротный американский ботинок и сказать: «О, спасибо, Джонни. Спасибо за твою щедрость... За то, что тебе доставляет такое удовольствие наблюдать за тем, как европеец из благородной семьи трахает свою кровную сестру, и что мое представление так тебе нравится. На что я даже и не надеялся... Ты такой добрый...»

Его голос перешёл на пронзительный визг. Ли рассеяно и с раздражением посмотрел на него.

— Я, в венах которого течёт древняя кровь! Я должен сукиному сыну ноги целовать!

Он плевался яростью словно истеричный кот. Неожиданно вылетела его вставная челюсть, и он наклонился вперёд, пытаясь схватить её. Ли наблюдал за тем, как рот Антонио невероятно растянулся — зубы

на краю трубочки из плоти, — протянулся над столом: спокойно, зловеще и важно, как червь-паразит.

Челюсть перелетела через стол и упала Ли на колени. Ли отбросил челюсть обратно, хлопнув по брюкам. Антонио поднял её и, держа в одной руке, вытер о скатерть. Другой рукой он прикрывал лицо. Он вставил зубы, и лицо обрело форму. В конце концов он обернул Ли свою отвратительную улыбку, лицо его, вспотевшее от напряжения, стало цвета старого грязного воска.

— Но ты не похож на остальных американцев. Ты... — хороший парень.

— А ты когда-нибудь думал о том, чтобы работать? — спросил Ли.

— В Танжере работы нет.

— Вообще-то я знаю хозяина Кафе de la Paix. Я мог бы устроить тебя уборщиком туалетов. В конечном счёте, это честная, уважаемая работа, с перспективой. Он подумывает об открытии обувной мастерской, и ты бы смог стать чистильщиком обуви. Это, конечно, если ты проявишь себя. Держи нос по ветру... Когда американец посрал, не стой столбом, а подотри ему задницу. Да подотри так, как ему ещё никто не подтирал.

Ли улыбнулся. Антонио зловеще посмотрел на него. Его лицо исказилось от напряжения, его глаза излучали ненависть словно коротковолновой передатчик. Антонио улыбнулся в ответ.

— Ты шутишь, Билл.

— Конечно шучу. Мы, американцы, — большие шутники.

— Американцы! Они приезжают в Европу и покупают нас как скот! «Ты не туда втыкаешь, Клем. Это он». — «Ну и что, Люк? Это же не одно и то же, что быть педиком. В конце концов, здесь только эти уроды».

Ты не понимаешь, что это значит, Билл. Ты не из старинного рода. Видеть, как моя тётушка Митци, вдовствующая графиня Борганцола — старейший род в Европе, — дама восьмидесяти лет, танцует канкан

для пьяных американских солдат: «Шевелись, старуха. В твою задницу денежки вложены». И я стою беспомощный. Я их так ненавижу, что не могу не пустить шляпу по кругу.

— Окей, — сказал Ли. — я сейчас пойду за рецептом. Твоя старушка-мама, изолированная за неуплату квартплаты от своих железных лёгких, открывает рот словно рыба. Финансовая компания входит во владение искусственной почкой твоей жены... Будет нелегко оставаться здесь и наблюдать за тем, как она сморщится и почернеет, и захлебнётся собственной мочой, твоя дорогая жёнушка, мать твоего мёртвого ребёнка, последнего в роду Борганцоли, а врач сказал, что стоит подождать с почкой ещё один день, и она снова заработает. Грустная, милая, мягкая улыбка... «Ах да... Моя жизнь — сплошная трагедия. Но только подумать, что её могли бы спасти всего лишь пятьдесят песет! Это так жестоко!» Антонио, ты говоришь о дилемме европейца. Ты нас на столько ненавидишь, что не можешь не пустить шляпу по кругу.

Уволенные полицейские

Радикальное упрощение законодательства США лишило работы тысячи копов и агентов отдела по борьбе с наркотиками: УП (уволенные полицейские) наводнили Центр Трудоустройства, сбитые с толку и хныкающие словно беззубые хищники: «Я не прошу от жизни многого. Просто позвольте мне одному гражданину испортить жизнь».

Некоторых из них поглотило общество взаимопомощи.

УП-1: Мадам, мы не претендовали бы на искусственную почку, что с вашим ребёнком в таком положении, быть неспособным пописать.

УП-2: Анна арестована.

УП-1: Анна несёт ответственность.

УП-2: Анна задержана.

УП-1: Анна износилась во время использования.

УП-2: Амортизация, да?

УП-1: Проверка и амортизация.

УП-2: Это всё равно, что вы уже преступник... Мм.

Сушья безделица.

УП-1: Сушья безделица.

УП-2: Не из тех штучек, которые собирают из стиральной машины у себя в подвале.

УП-1: Если будь у вас стиральная машина.

УП-2: В подвале Анна.

Дама: Но что же мне делать? Меня заменили роботом.

УП-2: Я не м-р Энтони, мадам...

УП-1: Я мог бы поторговать задницей мальчика, если он будет стоять спокойно, хо-хо-хо... Мадам, нам хочется помочь вам... Видите...

УП-2: ...наша работа — это всё. Вам следовало бы научиться экономить смазку.

УП-1: Может он ссыт этим в унитаз. Хо-хо-хо.

В обществе взаимопомощи один УП оторваться сможет. Но как насчет остальных?

Один из них получил синекуру уборщика туалетов на автобусной станции «Грейхаунд» и угрозами случайных несовпадений намерениями испортить платные туалет добился уважения к себе. С этой целью он прятался в шкаф для полотенец и подглядывал в щелку.

Другой работал в турецких банях и обзавёлся инфракрасным биноклем: «Хорошо. Эй, вы, там в северном углу. Я вас вижу». На самом деле он не мог угрожать клиентам или выгонять их из бань, но ему удалось создать нервную атмосферу (патрулировал залы, навевался в парную, включал прожектора, просовывал свою голову в кабинки), столько гомиков выводили в смирительных рубашках. Так, что он жил полноценной жизнью и умер в преклонном возрасте от рака простаты.

Ещё одному повезло меньше. Какое-то время он работал консьержкой, но до того изводил своих хозяев,

что те, в конце концов, собрались вместе и приготовились было сжечь его живьём в печи, которую он, как правило, топил плохо, когда вмешалась полиция. Его убрали для его же безопасности. Потом он работал в метро, но его, в конце концов, уволили за использование заострённой шеста для утрамбовки людей в вагонах в час-пик. В последствии он работал водителем автобуса, но его привычка приглядывать за пассажирами привела к аварии, в которой он уцелел, повредившись рассудком и телом. Он превратился в информатора-психопата, отправляя в ФБР бесконечные письма, которыми Дж. Эдгар, будучи по природе своей человеком экономным, пользовался вместо туалетной бумаги. Он пал даже ниже и кончил латахом, и, находясь в штаб-квартире и вокруг неё полиции вне закона как пресловутый напряжный тип, проводил дни перед полицейскими, способными выдержать его присутствие.

Энни Запасная Жопа

Когда я стал капитаном города, я решил предоставить убежище некоторым гражданам, которые из-за своей отвратительной и отталкивающей внешности были объявлены на территории района персонами нон грата.

Одна из них была известна под именем Энни Запасная Жопа. Прямо на середине лба у неё находилась дополнительная задница, похожая на несущий гибель бронзовый глаз. Другой был скорпион с человеческой головой. Он сохранил признаки человеческого голоса и предавался отвратительным пароксизмам жалости и отвращения к себе, во время которых он угрожал тем, что убьёт себя укусом в шею. Он никогда не угрожал другим, не смотря на то, что его укус приводил к мгновенной смерти.

Другая, также далеко не очаровашка, была похожа на гигантскую сороконожку с отвисшей брюшной по-

лостью и парой человеческих ног. Она иногда приподымалась при ходьбе и её тело многоножки раскачивалось перед нею. Другой раз она ползла, волоча за собой нелёгкую ношу человеческих членов. На первый взгляд она представлялась гигантской уродливой сороконожкой. Её прозвали Многочлен, потому что она постоянно приставала ко всем, кого она только могла загнать в угол, с сексуальными домогательствами, и последние, теряя сознание, обнаруживали себя в постели с Многочленом. Один дегенеративный гермафродит, известный как Сара Грошова Пизда, заявлял, что он лучший партнёр в городе: «Помимо всего прочего, он ещё и джентльмен в лучшем понимании этого слова. Он добр и мил, что просто не доступно вам...»

Эти существа появились в стране, в которой священники проводили странные обряды. Из ещё влажных только что освежеванных костей молодых людей (пленников из соседних племён) они изготавливали ящички. Мальчиков убивали, обвязав вокруг их шеи лозу и столкнув с ветки гигантского кипариса. Перед этим ветвь срезали и вырезали из неё огромный фаллос размером в пятнадцать дюймов в длину и три дюйма в окружности. Лоза (всегда с растения яге) крепилась к концу ветви; юношу выводили на край и сталкивали так, что он ломал себе шею, пролетев восемь фунтов. Потом к нему подходил священники и медным ножом вырезали из всё ещё бьющейся в оргазмических конвульсиях плоти кости. Из этих костей они с большой сноровкой и скоростью изготавливали ящички, отделявая их изнутри медью. Гонцам приказывалось отнести ящички на особенную вершину, где камни давали необыкновенное свечение. В ящички заключались женщины, которых оставляли на вершине на три часа. Часто женщины умирали, но те, которые выживали, часто рожали чудовищ. Эти чудовища священниками считались одним из способов унижения людей перед богами в надежде на то, что те смиряют свой гнев.

Этих ужасных уродов ценили и селили в храме. Женщины, давшие жизнь наибольшему числу чудовищ, награждались золотыми звёздами, которые им разрешалось носить по особым случаям.

Раз в месяц они устраивали большой праздник, во время которого все собирались в круглом каменном храме без купола и падали ниц, принимая самые омерзительные и унижительные возможные позы дабы боги видели, что они не желают иного удела.

Привычка жить в грязи и унижении, в конце концов, стал причиной возникновения чумы — острой формы проказы, которая опустошила округу. Выживших уродов (у которых, похоже, выработался к чуме иммунитет) я решил поместить у себя в городе в качестве примера того, как далеко может зайти человек.

Приснившиеся копы

Неожиданно раздался грохот — стучали в дверь. Агент натянул брюки и повернул ключ в замке. В комнату ввалились три человека. Двое были одеты в гражданское, один — в форму. Человек в форме тут же достал из кармана наручники и защёлкнул их вокруг запястья Агента. Наручники были сделаны из какого-то плотного и лёгкого дерева. Его униформа местами порвалась и была в пятнах, измятая накидка была застёгнута неряшливо.

Один из граждан выглядел как водевильный детектив с котелком и сигарой. Сигарой длиной в десять дюймов. Другой граждан был высоким и худым и держал какой-то инструмент вроде логарифмической линейки.

— Слишком длинная сигара, — сказал Агент. — Мне это снится. Вы не тронете меня.

Водевильный детектив кивнул копу в форме. Коп показал свои кривые грязные зубы. Он ударил Агента. Агент ощутил во рту вкус крови.

— У тебя не обычные сны, — сказал детектив, — Нам, между прочим, сны тоже снятся... Спишь с ниггером.

Агент собрался было отпираться, но оглянувшись, увидел в кровати молодого чернокожего. По жирным курчавым волосам негра ползали огромные вши.

— Хорошо, — сказал детектив, — покажи свою руку.

Агент закатал рукав рубашки. Перед глазами закружились звездочки. Кровь стекала по подбородку. Он поднялся и посмотрел на детектива.

— Что, умный, да? — прорычал детектив; глаза его фосфоресцировали; рот брызгал слюной. — Ты — самый умный малый из всех, кого я когда либо встречал. Покажи свою руку. Отросток свой.

Он протянул свою плотную и широкую волосатую руку и схватил ею Агента за ремень. Другой он разорвал ему ширинку. На пол полетели пуговицы. Указательными и большим пальцами — как принято в суде — он взялся за пенис Агента. Повернулся к другому цивилу — облегающий костюм, тощий с красным лицом, плохими зубами. С сигарой в форме сигареты во рту. Всё это время он записывал номер керосиновой лампы Агента.

— Две трети этих — евреи, — сказал водевильный детектив.

— Я не еврей, — сказал Агент.

— Знаю, знаю. Ты ограничивался тем, что трахался с одним из тех типов, которые глотают стекло и лезвия. Не еврей!

Другой детектив оторвал свой взгляд от керосинки и идиотски засмеялся. На пол упала золотая пломба.

По сигналу водевильного детектива коп снял наручники.

— Будь осторожней, — сказал детектив. Все трое вышли, закрыв за собой дверь.

На следующее утро рот у Агента всё ещё болел. Разжигая керосинку, он обнаружил на полу золотую пломбу.

ШКОЛА ТРУПОВ

Александр Дугин
СУМЕРКҪИ БЕСОВ
(НА СМЕРТЬ ТРАХТЕНБЕРГА)

По мере ускорения научно-технического прогресса и ритма социального развития, по мере модернизации, набирающей обороты, все столь же стремительно мельчает. Ницше, объявив о «смерти Бога», решил, что это слишком большой масштаб для окружающего его человечества, и поправился — «Сумерки *идолов*», «сумерки божков», а не «сумерки богов» как у Вагнера. Игра слов «*Götterdämmerung*» (торжественно) — «*Götzendämmerung*» (насмешливо).

В XXI веке и это оказалось *слишком* — «идол» звучит слишком возвышено, слишком классически. Надо взять что-то помельче. Идолы — ценности — разрушены. Кто еще может стать жертвой безудержного движения цивилизации вперед и вперед, к новым открытиям и новой свободе? Новые философы (Глюксман и Леви) попробовали провозгласить «смерть человека», развивая идею Ролана Барта о «смерти автора». Но сами эти философы постепенно превратились в ангажированных и пышащих злобой двухгрошовых колумнистов по найму, прославляющих либерализм, на которых ссылаться неприлично.

На кого же тогда прилично? Ответу: на *Романа Трахтенберга*. То, что это существо отбросило копыта, многих в России повергло в шок. Почему, любопытно? 41 год — почтенный возраст в современной России,

ведь у нас потолок мужской жизни 57 лет, то есть этот оранжевовласый мешок с испражнениями умер в пору почтенной старости. Удивила пришедших проститься с окурком, оставшимся от известного популярного радиоведущего, не ранняя смерть матерщиника и известного своей похабщиной фрика, но *сам факт его смерти*.

Роман Трахтенберг *не мог умереть*. То, что произошло, стало настоящей сенсацией (или научным открытием). Ведь это был самый *настоящий бес*. Бес в плоти и крови, с кривой пахабной рожей, с визгливо-шуршащим голоском, с типично бесовской прической стиля «оранжевый шиш» (так располагаются волосы бесов на большинстве канонических изображений Страшного Суда — они трепещут адского огня и волосы становятся дыбом — вот и получается «шиш»), с маленькими злыми глазками, будто проковырненными в иной менее почтенной, чем лицо, части тела, с жирным волосатым животом.

140

Бес — обезьяна ангела; его задача — занижать ангельские мотивы, имитируя их мутной сумеречной возней. Трахтенберг именно этим и занимался — он поставил своей целью воплотить в жизнь метафору «бесовской текстуры», выработанную высокобровыми постмодернистами (Делезом, например, который сам «дал беса» сиганув из окна, будто инсценируя злой афоризм Ницше — «вы хотите изгнать из себя бесов, не боитесь сами превратиться в свиней?!» — евангельских свиней, прыгнувши с обрыва в море).

Казалось, бес пришел *всерьез и надолго* — любимец скотов-олигархов и почтенных теток с баулами, напевающих, возвращаясь с базара, «Голубую Луну» Бориса Моисеева и какого-то еще уродца с трубой и такой же фамилией. Но вот хлоп — как полстакана — и беса не стало, жирная тушка сыро подгнивает в могиле. Всем урок, который, увы, никто не извлечет.

Сам Трахтенберг подчеркивал, что его фамилия на идише означает «*мыслящая гора*», а отнюдь не гора дерьма и не то, что его слушатели (дурно воспитан-

ные), глядя на его сальную морду, могли бы подумать. Это укор всем «мыслящим», выведение их на чистую воду.

Трахтенберг — это предел реализованного постмодерна, не задуманного, но именно *реализованного*, воплощенного в действительность. Это бес, обретший плоть. То, о чем писали Сорокин и Пелевин, того, кого рисовали художники-концептуалисты — уже родилось и, ах, умерло. Если мы посмотрим на корректного и аккуратного Марата Гельмана, члена Общественной Палаты и респектабельного галерейщика-политтехнолога, то, прищурившись, мы сможем увидеть в нем Трахтенберга или Тину Канделаки — эту феминоидную паредру известного радиоведущего. Поскреби Гельмана, найдешь Трахтенберга.

Либо — Марат Александрович, отшатнитесь, и переходите на нашу сторону — чтобы и подозрений не осталось и щуриться не надо было бы! Из жизни ушел (видимо) уважаемый член Общественной палаты; чего-то важного лишились многие — Константин Эрнст, Олег Добродеев, Роман (тоже Роман! — «помни о смерти», Роман) Абрамович, отпал кусок плоти с холеного тела Михаила Прохорова и сгнил на лету, что-то беспричинно зачесалось у Ксении Собчак, Михаил Швыдкой посмотрел на себя в зеркало и не узнал своего лица... Его больше нет с нами. Это необходимо осмыслить.

Смерть беса. Радоваться или горевать? Он, правда, не претендовал на вечность, — это прерогатива иных персонажей, — но и смерти у него не должно было бы быть. Юмористы не умирают, они все уходят в свое змеиное хихиканье. Покойный Бодрийяр забавлялся с фразой — «испустить дух» — так проколотая шина выпускает воздух. Роман Трахтенберг лопнул, как лопаeta трест. Это трест, куда входит определенная часть современной России. Не стройте иллюзий, он умер за вас. Или вы думаете, что *будете жить всегда?*

В этом-то весь вопрос: кого бы вы хотели встретить *по ту сторону могильной ямки?* И если вы не хо-

тите встретиться с ним, чтобы прослушать новый скабрезный анекдот про вышедшие из-под контроля половые органы, то *лучше бы вам одуматься*. Смерть беса — сумерки недотыкомок — хороший горизонт для того, чтобы прийти в себя и отшатнуться с омерзением от того, что нам показывают и рассказывают. Это очень больной нарратив. Эти — осцилляции «около нуля», когда все кончилось, но кто-то еще на гаснущем экране продолжает по инерции развлекать нас, пытаюсь отвлечь от неминуемого и давая всем своим сытым, откормленным, самоуверенным видом понять — «*все еще не...*», «еще не...».

Бес умер — значит «уже», «уже да».

jean lucgodard

Жан-Люк Годар **ЧТО ДЕЛАТЬ?**⁴

1. Нужно снимать политические фильмы.
2. Фильмы нужно снимать политически.
3. Пункты 1 и 2 антагонистичны по отношению друг к другу. Они выражают две противоположные концепции.
4. Пункт 1 принадлежит идеалистической, метафизической концепции мира.
5. Пункт 2 принадлежит марксистской, диалектической концепции мира.
6. Марксизм борется с идеализмом; диалектика — с метафизикой.
7. Борьба эта есть борьба старого и нового, борьба новых идей со старыми.
8. Социальное бытие людей определяет строй их мыслей.
10. Борьба старого и нового есть классовая борьба.
11. Выбрать первое — значит остаться представителем класса буржуазии.
12. Выбрать второе — значит занять позицию пролетариата.
13. Выбрать первое — значит заняться описыванием ситуаций.
14. Выбрать второе — значит конкретно анализировать конкретные ситуации.
15. Выбрать первое — сделать «Звуки Британии»⁵.

⁴ Afterimage № 1, апрель 1970. Перевод К. Адибекова.

⁵ Жан-Люк Годар говорит о своем фильме 1970 года (в соавторстве с Жан-Анри Роже, снятом по заказу британского телевидения и в последствии им же отвергнутом. (Здесь и далее в тексте прим. перев.)

16. Выбрать второе — бороться за то, чтобы «Звуки Британии» были показаны на английском телевидении.

17. Выбрать первое — значит объяснять мир через его законы.

18. Выбрать второе — значит без усталости преобразовывать мир через понимание его законов.

19. Выбрать первое — значит заняться описыванием мистерии этого мира.

20. Выбрать второе — значит показать борьбу людей.

21. Выбрать второе — значит, критикуя самих себя и окружающий мир, разрушить первое.

22. Выбрать первое — значит показать все происходящие события во имя самой правды.

23. Выбрать второе — значит отказаться от воспроизводства во имя относительной правды перенасыщенных образов происходящих событий.

24. Выбрать первое — значит рассказать о настоящих вещах. (Брехт)

25. Выбрать второе — значит о вещах настоящему. (Брехт)⁶

26. Выбрать второе — значит монтировать фильм до того, как он снят, пока он снимается, после съемок. (Дзига Вертов)

27. Выбрать первое — значит распространить фильм до того, как он будет готов.

28. Выбрать второе — значит сделать фильм, после чего распространять его; научиться делать кино, следуя правилу: работа превалирует над последующим распространением, политика превалирует над экономикой.

29. Выбрать первое — значит снимать студентов (защтриховано), пишущих: единство — студенты — работники.

⁶ Эту формулу Бертольта Брехта Годар цитировал в начале сценария фильма «Карабинеры».

30. Выбрать второе — значит понимать, что единство есть борьба противоположностей (Ленин); (заштриховано) понимать, что они составляют одно целое.

31. Выбрать второе — значит изучать противоречия между классами с помощью изображений и звуков.

32. Выбрать второе — значит изучать противоречия во взаимоотношениях производства и производительных сил.

33. Выбрать второе — значит рискнуть узнать, что и где (заштриховано), осмыслить свое место в производственном процессе с тем, чтобы изменить его в дальнейшем.

34. Выбрать второе — значит знать историю революционной борьбы и свое в ней место.

35. Выбрать второе — значит научно воспроизводить историю революционной борьбы.

36. Выбрать второе — значит понимать, что производство фильмов — второстепенное занятие, малая часть революции.

37. Выбрать второе — значит использовать изображения и звуки, как (заштриховано) зубы и губы — чтобы кусать.

38. Выбрать первое — значит всего лишь открыть глаза и напрячь слух.

39. Выбрать второе — значит читать отчеты товарища Цзян Цин⁷.

40. Выбрать второе — значит воевать.

⁷ Цзян Цин — китайская актриса, активист коммунистического движения, Министр Культуры Китая, последняя жена Мао Цзе-дуна. Один из инициаторов Культурной революции 1965-76 годов. Ее текст «Протокол бесед о литературном и творческом труде в вооруженных силах, доверенный товарищем Линь Бяо товарищу Цзян Цин» (февраль 1966) цитируется в фильме «Ветер с востока» (Vent d'est) как пример рождения материалистического кино.

Жан-Люк Годар и Жан-Пьер Горен ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА⁸

Дорогая Джейн,

В рекламной брошюре, представляющей картину «Все в порядке» (Tout va bien) на фестивалях в Венеции, Карфагене, Нью-Йорке и Сан-Франциско, предпочтение было отдано не кадрам из фильма, а твоей фотографии, снятой во Вьетнаме. Эта фотография была взята из одного из номеров L'Express начала августа 1972 года, и нам кажется, что она поможет очень конкретно обсудить вопросы, которые поднимает «Все в порядке».

Речь не идет об уклонении от обсуждения самой картины, как если бы мы боялись о ней говорить. Во-все нет. Мы не собираемся топтаться на месте (как марионеточная армия Тхиеу⁹ в провинции Куангчи¹⁰), иначе мы рано или поздно затопчем друг друга, чтобы

146

⁸ Французский вариант текста фильма Жан-Люка Годара и Жан-Пьера Горена «Письмо к Джейн» (Letter to Jane, 1972). Tel Quel № 52, зима 1972. Перевод К. Адиебекова.

⁹ Нгуен Ван Тхиеу — политический деятель, президент Южного Вьетнама в 1967–1975 годах. В апреле 1975 года, после неудавшейся попытки получить от США финансовую помощь, бежал из страны. 30 апреля северовьетнамские войска одержали окончательную победу над Южным Вьетнамом. (Здесь и далее в тексте прим. перев.)

¹⁰ Куангчи — город и провинция во Вьетнаме (Южном Вьетнаме — до 1976 года). В январе 1968 года войска Северного Вьетнама неудачно штурмовали город, в 1972 году им удалось-таки взять его. Однако через четыре с половиной месяца войскам Нгуена Ван Тхиеу удалось вернуть город себе. Северный Вьетнам окончательно завоевал город 19 марта 1975 года.

выбраться оттуда (как это произошло с флотом в Куангчи). Таким образом, необходимо пойти в обход, но это будет, если можно так сказать, обход напрямик. Такой поворот позволит напрямую подойти к мелким спорным моментам, которые фильм, снятый нами совместно в начале этого года, пытается вынести на обсуждение.

Прежде, чем переходить к всестороннему обсуждению достоинств и недостатков нашего фильма, мы бы хотели попросить критиков, журналистов, зрителей любезно согласиться проанализировать твою фотографию во Вьетнаме, сделанную через несколько месяцев после того, как мы закончили съемки в Париже.

В целом, нам кажется, что эта фотография и текст под ней лучше резюмируют «Все в порядке», чем мы сами могли бы это сделать. Причина очень проста. Эта фотография отвечает на тот самый вопрос, который был поставлен фильмом: какова роль интеллектуалов в революции? Фотография дает прикладной ответ на этот вопрос (ее ответ в ее собственном опыте). Ведь эта твоя фотография, Джейн, рассказывает о твоём участии в борьбе вьетнамского народа за независимость.

На тот же вопрос отвечает и «Все в порядке», но по-другому. Фильм не столь уверен в ответах, как фотография, наоборот — в нем еще больше вопросов. В результате все сводится к невозможности поставить вопрос об интеллектуалах и революции именно таким образом. Так как же его сформулировать?

Фильм не дает четкого ответа на этот вопрос. Но то, каким образом он не отвечает на него, косвенно подводит к другим вопросам. Старые ответы на новые вопросы, поставленные развитием революционной борьбы, ни к чему. Необходимо научиться формулировать эти новые вопросы. И учиться нужно плечом к плечу с теми, кто если еще не сформулировал новые вопросы, то, во всяком случае, уже отвоевал место, где они могли бы возникнуть и расцвести. Отвоевал новым способом.

Мы говорили тебе: то, как мы не даем ответа есть косвенная постановка новых вопросов. Косвенная. В обход. Теперь ты можешь понять необходимость такого хода перед разговором о фильме. И то, почему мы «заходим» через Вьетнам. Во-первых, потому что все согласится: действительно новые вопросы формулируются именно там. Во-вторых, потому что ты поехала туда после того, как была с нами.

Вот откуда наше желание расспрашивать, глядя на фотографию актрисы в театре боевых действий, расспрашивать не актрису, а фотографию. Это позволяет нам задать некоторое количество новых вопросов в связи с классическим ответом, который вы — ты и вьетнамцы, сделавшие и распространяющие снимок, даете об интеллектуалах.

Что ещё заставило нас воспользоваться этой фотографией для нашего обходного маневра через Вьетнам? У нас есть желание по-настоящему обсуждать фильм со зрителями, будь они журналисты или нет, ведь каждый сам себе журналист, редактор — в зависимости от того, как он мыслит собственный день, как он его описывает, как создает свое собственное «маленькое кино» о своей повседневной деятельности, вещественности. Мы хотим говорить со зрителем именно об этом «маленьком кино», придуманном Люмьерами, о нем, а не о каком-либо другом. О нем и об индустриальной революции. Но для этого нам нужно пойти в обход. Кино есть способ в обход прийти к самим себе — и чтобы вернуться к фильму, мы должны сами совершить этот маневр. И здесь, в США, мы сами — это прежде всего Вьетнам.

Рассмотрим подробнее. Мы считаем, что есть срочная необходимость поговорить с теми, кто пришел посмотреть наш фильм. Сейчас, когда мы здесь, а они — там. Необходимо сделать так, чтобы они действительно могли, если есть желание, задать вопросы или же ответить на поставленные нами. Нужно, чтобы они могли поразмыслить. В первую очередь, поразмыслить об этой проблеме — проблеме вопросов и ответов.

Нужно, чтобы вопросы (или ответы) зрителей могли расшевелить нас, чтобы мы могли ответить или задать встречный вопрос, избегая готовых ответов (вопросов) на готовые вопросы (ответы). Готовых? Кто их заготовил? Для кого? Против кого?

Таким образом, чтобы иметь настоящую возможность обсуждать «Все в порядке», необходимо выйти за пределы фильма. Чтобы говорить о станке, нужно покинуть завод. Мы найдем платформу для дискуссии за пределами кино, чтобы вернуться к нему в дальнейшем. Вернуться для того, чтобы уверенно подойти к настоящим проблемам нашей настоящей, осязаемой жизни, в которой кино — лишь одна из составляющих.

Мы не покинем, не бросим «Все в порядке». Напротив, этот фильм будет отправной точкой разговора о Вьетнаме, поскольку ты только что вернулась оттуда. Но — и это очень важно — мы направимся туда, пользуясь собственными средствами передвижения.

О каких средствах передвижения идет речь? О технике, которую мы используем в работе, о социальных механизмах, внутри которых находимся (ты на этой фотографии во Вьетнаме, мы — в нашем фильме в Париже) и которые позволят нам разобраться в ситуации. На этот раз мы будем не одни, с нами будет зритель, он будет одновременно и производить и потреблять, а мы будем одновременно потреблять и производить.

Возможно, ты сочтешь это слишком заумным. Вертов говорил Ленину, что правда проста, но говорить правду — непросто, а дядюшка Брехт в свое время вынужден был преодолеть с пяток трудностей, чтобы сказать правду. Хорошо. Объясним по-другому.

Сегодня много говорят о том, что кино должно быть «на службе у народа». О'кей. Вместо того, чтобы теоретизировать о достоинствах и недостатках «Все в порядке», вернемся лучше во Вьетнам. Но сделаем это с помощью средств, которые предоставляет нам «Все в порядке». Посмотрим, как «Все в порядке» — если можно так выразиться — «работает» во Вьетнаме. Каждый

из нас, на своем месте, со своей женой, своим начальником, своими детьми, своими деньгами из практического опыта может понять, что нужно, а что не нужно делать.

В общем, мы воспользуемся этим снимком для того, чтобы отправиться во Вьетнам и ответить на вопрос: как кино может помочь вьетнамскому народу завоевать независимость? Уже говорилось, что не мы одни используем эту фотографию для того, чтобы переместиться во Вьетнам. Это сделали уже тысячи людей, ведь практически все здесь уже видели снимок, и с его помощью каждый по-своему провел несколько секунд во Вьетнаме. Нам кажется важным понять: как именно фотография помогла этим людям побывать во Вьетнаме? Как они попали во Вьетнам? Ведь и доктор Киссинджер¹¹ бывает во Вьетнаме по несколько раз в год.

150

Люди вроде доктора Киссинджера обязательно спросят нас, при чем тут эта фотография? Какая связь между ней и «Все в порядке»? И он, и его друзья скажут, что это несерьезно, что нужно говорить о фильме, об искусстве и т.д. Нужно усилие, чтобы понять: такой тип мышления изобличает сам себя, преграждая путь вопросам «попроще» (как говорят о людях «попроще»).

К примеру, прежде, чем спросить «какая связь?», нужно спросить, а есть ли она вообще? И если есть, то только после этого можно спросить «какая?». И уже потом, обнаружив эту связь (в данном случае мы быстро поймем, что связь между нашим фильмом и этой фотографией — в выражении лица), мы сможем судить о ее важности, сопоставляя её с другими важными вопросами и ответами.

Казалось бы, о чем все это? Сплошное бла-бла-бла. Но с другого конца этой новой цепочки вопросов возникает вопрос особой важности — вопрос практиче-

¹¹ Генри Киссинджер — помощник Ричарда Никсона по внешней политике с 1969 по 1973 год. Один из идеологов и инициаторов режима Южного Вьетнама.

ского результата. Объяснением тому служит вопрос важности или не-важности этой фотографии, на который Северный Вьетнам и Вьетконг уже ответили — добившись ее публикации по всему «свободному» миру (который держит их в рабстве). Тем самым они подчеркнули значение для них практического результата.

Таким образом, этот снимок и есть тот ответ, который вьетнамцы с твоей, Джейн, помощью попытались дать на известный вопрос: какую роль кино должно играть в революционной борьбе? Известный вопрос, повторяющийся другой, не менее распространенный вопрос: какова роль интеллектуалов в революции?

«Все в порядке», как и фотография, дает практический ответ (вопрос народной практики; фотография сделана и опубликована, причем сделана так, чтобы быть опубликованной наверняка, неважно — в правой или левой прессе — и это факт, иначе мы бы никогда ее не увидели). Но эти ответы разнятся. Разница в том, что мы не отвечаем сразу. Ведь здесь, во Франции, в 1972 году, когда всем заправляют американские или русские друзья, не всё понятно и очевидно (вспоминается Фидель Кастро, сказавший в ООН, что для революционеров никогда не существовало очевидных решений и что империализм изобрел их для того, чтобы сильные могли подавлять слабых).

И поскольку нет ничего очевидного, Джейн, продолжим задавать вопросы, но давай делать это по-другому. Давай ставить перед собой новые вопросы, чтобы иметь возможность отвечать по-новому. Давай, к примеру, посмотрим, как вьетнамцы транслируют свою борьбу, и зададим вопросы себе, ведь мы тоже хотим транслировать нашу борьбу. Для начала спросим себя, а что позволяет нам говорить, что мы действительно боремся?

Но здесь, Джейн, ты возможно спросишь нас, почему именно эта фотография? Почему не фотография

Рэмси Кларка?¹² Ведь он тоже был во Вьетнаме, засвидетельствовал бомбардировки плотин. Дело во «Все в порядке» — в том, что твой социальный статус на этом снимке соответствует твоему социальному статусу в фильме. Ты актриса. Все мы актеры в театре истории, но помимо этого ты занимаешься кино, как и мы. Так почему не Ив Монтан в Чили? Он тоже снимался в фильме, скажешь ты. Верно. Но так получилось, что чилийские революционеры не сочли нужным распространять фотографии с Ивом, тогда как вьетнамские революционеры, с твоего согласия, решили иначе (вернее решили распространять фотографии твоего согласия с ситуацией во Вьетнаме).

Есть другая неизбежная проблема. Мы — два мальчика, снявшие «Все в порядке», а ты — девочка. Во Вьетнаме этот вопрос излишен, здесь — нет. Поэтому тебя неизбежно заденет то, что мы будем так или иначе критиковать твою игру на этой фотографии. Все из-за того, что мужчины всегда объединяются, чтобы нападать на девушек. Именно поэтому мы надеемся, что ты сможешь прийти и сама ответить на наше послание, которое мы зачитаем в паре-тройке мест в США.

Но верно и то, что мы до сих пор (или уже) находимся здесь — в США, в Европе. Все мы в одном тазу, в огромном тазу/борделе, чьим проявителем может служить этот снимок. Вот наша отправная точка. Твоя — в США. Наша — в Париже. Наша общая — в том же Париже. Твоя — во Вьетнаме. Наша — в Париже — когда мы смотрим на тебя. Наша — при отъезде в США. Отправная точка для всех — здесь, в этом кинозале, где нас слушают, а на тебя смотрят. Мы начинаем отсюда. Все каким-то образом организовано и каким-то образом функционирует. Мы хотим обсудить это, причем начать прямо здесь. Начать со «Все в по-

¹² Рэмси Кларк — министр юстиции США в 1967–1969 годах. Правозащитник, известный своей критикой внешнеполитической агрессии США.

рядке», чтобы оказаться во Вьетнаме, вернуться к «Все в порядке», из Вьетнама — в этот зал, где демонстрируется «Все в порядке», затем — домой, а завтра — на предприятие.

Для начала рассмотрим эту фотографию внимательно. Вернее — пересмотрим. Ведь вы с вьетнамцами уже всем ее показали. Иначе говоря, возникает вопрос, вопрос к самим себе: мы видели этот снимок? Что мы на нем видели? Каждый вопрос влечет за собой следующий. Например, как мы смотрели на фотографию? Что происходило с нашим взглядом в тот момент, когда мы на нее смотрели? Что повлияло на наш взгляд именно так, а не иначе? И еще вопрос: почему наш немой взгляд транслируется нашим голосом именно так, а не иначе?

И оказывается, во «Все в порядке» все эти вопросы есть. Все они могут быть резюмированы одним общим вопросом относительно роли интеллектуалов в революционной борьбе. Но очевидно, что этот важнейший вопрос неразрешим в том виде, в каком мы его задаем. Из-за этого невозможно ответить и на другие вопросы. В итоге приходим к тому, что этот вопрос уже не имеет отношения к революции. Актуальным революционным вопросом (мы увидим это сначала на примере фотографии, а потом на примере фильма) будет следующий: как изменить старый мир? И сразу же становится ясно, что старый мир Вьетконга отличается от старого мира западного интеллектуала, что старый мир палестинца отличается от старого мира негритенка из гетто, что старый мир рабочего завода Renault отличается от старого мира его подружки.

Фотография дает практический ответ на вопрос об изменении старого мира. Значит, мы будем вглядываться в снимок/ответ, будем его исследовать. Выявлять его приметы. Анализировать и синтезировать. Попытаемся объяснить расположение составляющих фотографию элементов. Как если бы, с одной стороны, речь шла о физико-фотографическом атоме, с другой — о фотографическо-социальной ячейке. Затем попы-

таемся связать исследование научное непосредственно с исследованием политическим («откуда берутся верные идеи: из борьбы за производство, из классовой борьбы и из научного эксперимента», Мао¹³). Исследование этого снимка и есть попытка понять, каким образом (в условиях борьбы во Вьетнаме) он отвечает на вопросы? В итоге станет ясно, удовлетворил ли этот ответ всех (кого? против кого?), не появляются ли внезапно новые вопросы — те, что успешно или не очень успешно поднимает «Все в порядке»?

Мы увидим, например: то, что важно (эмоция актрисы, соотношение губ/взгляда) в Западной Европе, на наш взгляд, не может быть столь же важным для тех, кто делал этот снимок, кто принимал решение сделать его (вьетнамцы, вьетконговцы — для них это совершенно нормально, нужно ли разбираться в том, что обуславливает это «нормально?»).

Заявить так — это не значит просто-напросто повторить вслед за большинством западных коммунистических партий и за теми, кто их поддерживает (Папа, ООН, Красный крест): поможем Вьетнаму добиться мира. Сказать то, что говорим мы, значит сказать нечто гораздо более артикулированное. Например: поможем Северному и Южному Вьетнаму заключить мир. Или еще точнее: как мы можем со своей стороны помочь Вьетнаму, который, меняя свой старый мир, помогает нам менять наш? Как мы, в свою очередь, можем помочь ему? И как мы, следуя за Северным Вьетнамом/Вьетконгом, критикующим и меняющим Юго-восточную Азию, можем бороться за изменение Европы и Америки?

Конечно, это немного сложнее (чем: мир во Вьетнаме) и требует больше терпения (чем: создать два или три Вьетнама), именно на этом настаивает Маркс (в

¹³ «Классовая борьба, производственная борьба и научный эксперимент есть три великих революционных движения в строительстве могучей социалистической страны», Мао Цзе-дун.

предисловии к первому изданию «Капитала»), когда говорит о «мудрствовании вокруг мелочей» в момент свержения «правителя ада и высвобождения бесенят»¹⁴.

Тот, кто видел твою с вьетнамцами фотографию несколько месяцев назад, Джейн, оказавшись здесь с нами, сможет при желании исследовать ее независимо от нас. Таким образом, мы сможем свободно сравнивать наши результаты. Мы сможем брать слово, не отнимая его у слушающих. И возможно, именно так нам удастся избежать ряда глупостей по поводу нас и революции.

Еще кое-что. Чтобы ты не чувствовала, будто критика приобретает личный характер (хотя, конечно, нам не удастся полностью этого избежать, и нам кажется, что проблема обозначена не вполне верно, хотя ближе к концу этого письма нам, вероятно, удастся добиться желаемого, именно поэтому мы очень хотим, чтобы ты приехала и ответила нам лично; ведь мы сейчас обращаемся к тебе не столько как режиссеры «Все в порядке», сколько как «читатели» этой фотографии, и ты должна осознать, что тебе впервые пишут по поводу твоей фотографии в журнале именно так), чтобы ты не чувствовала себя, как принято говорить, мишенью, чтобы ты понимала: речь идёт не о Джейн, но о функции Джейн Фонды — поэтому, обсуждая фотографию, мы будем говорить о тебе в третьем лице. Мы не станем говорить, Джейн то, Джейн се, мы скажем: актриса или активистка. Кстати, то же самое делает и текст, сопровождающий фотографию.

Вот каковы, на наш взгляд, основные элементы (и элементы элементов), играющие важную роль в этой

¹⁴ Из Предисловия к первому изданию «Капитала» (25 июля 1867 года): «Но товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара, есть форма экономической клетки буржуазного общества. Для непосвященного анализ ее покажется просто мудрствованием вокруг мелочей. И это действительно мелочи, но мелочи такого рода, с какими имеет дело, например, микроанатомия».

фотографии, опубликованной во французском издании L'Express в начале августа 1972 года.

Первичные элементы

— Эта фотография была сделана по заданию правительства Северного Вьетнама, представлявшего в данном случае революционный альянс народов Южного Вьетнама и Северного Вьетнама.

— Эта фотография была сделана Джозефом Крафтом, чье имя указано под фотографией, в тексте, составленном не теми, кто участвовал в работе, а теми, кто занимался распространением этой фотографии; то есть в тексте, написанном одним или несколькими редакторами L'Express, не имеющими никакой связи с представителями Северного Вьетнама во Франции (мы проверяли).

— Этот текст сообщает об одном из самых известных и уважаемых американских журналистов. Этот текст сообщает также о том, что актриса — страстная активистка, борец за мир во Вьетнаме. Этот текст ничего не сообщает о вьетнамцах, которых мы видим на фотографии. Этот текст, например, не говорит: вьетнамец, которого мы не видим, это один из самых неизвестных и неочтенных вьетнамцев.

— Эта фотография, как и любая другая, нема. Она имитирует написанный внизу текст движением губ. И этот текст никак не подчеркивает, не проговаривает (ведь фотография говорит, произносит что-то на свой лад) тот факт, что активистка заполняет переднюю часть плана, а вьетнамец стоит позади. Этот текст гласит: «Джейн Фонда расспрашивает жителей Ханоя». Но ни заданные активисткой вопросы, ни полученные от представителей вьетнамского народа ответы не напечатаны.

— Можно тотчас же заметить, что на самом деле, текст лжет технически. Текст не должен быть таким: «Джейн Фонда расспрашивает». Но: «Джейн Фонда слушает». Это бьет в глаза, как луч лазера. Возможно,

это её действие длилось не более 1/250 доли секунды, но именно эта 1/250 доля секунды была снята и затем напечатана.

— Без сомнения, этот текст указывает на уникальный момент, запечатленный в процессе общения, когда актриса/активистка действительно общалась с обитателями Ханоя, поэтому не стоит придавать такое значение тому, что ее рот закрыт. Но скоро мы увидим, что это вовсе не случайно, а уж если речь идет о случайности, то она оказывается вовлеченной во внутреннее пространство капиталистической необходимости, необходимости капитала скрывать правду в тот самый момент, когда она раскрывается, короче, «обманывать» при покупке.

Не столь первичные элементы

— Камера находится в позиции съемки снизу. И на самом деле, в истории кадра, такая позиция далеко не невинна (ее очень хорошо объяснил технически-социально — пускай и бессознательно — Орсон Уэллс, в своих первых фильмах). Сегодня, к примеру, фашиста Клинта Иствуда всегда снимают именно с низкой точки.

— Выбор кадра отнюдь не невинен и не нейтрален: снимают актрису, которая смотрит, а не то, на что она смотрит. Ее снимают как звезду. Все потому, что она и есть международная знаменитость, звезда. Короче говоря, с одной стороны снимают звезду-активистку, а с другой — тем же движением — активистку-звезду. А это отнюдь не одно и то же. Или вернее, это может быть одним и тем же во Вьетнаме, но никак не в Европе или в США.

— На следующей странице мы видим не то, на что смотрит активистка на этой фотографии, а то, на что она смотрела в другой момент. На наш взгляд, эта цепочка образов — та же, что транслируют «свободные» телевизионные каналы и пресса. Картинки, какие мы уже видели тысячу раз (столько же раз, сколько и бом-

бы), которые ничего не меняют, разве что для тех, кто соревнуется за лучший способ организации этих картинок (7 пунктов по GRP¹⁵). По правде говоря, если бы этот репортаж был подписан Дюпоном или Смитом, на наш взгляд, те же самые издания отказались бы от него, как от слишком банального. По сути, банально — перестраивать в двадцатый раз школу для детей из маленького поселения, удаленного от Ханоя, разрушенную самолетами доктора Киссинджера. Но об этой исключительной банальности, разумеется, никто говорить не станет — ни активистка-звезда, ни L'Express.

— Ничего не будет сказано и о том, что могли бы поведать друг другу американская актриса и ее подружки, вьетнамские актрисы, которых можно видеть на следующей странице. Разве американская актриса спрашивает, как исполняют роли во Вьетнаме или как некто, играющий в Голливуде, мог бы сыграть здесь, в Ханое, а потом снова в Голливуде? Если L'Express ничего об этом не говорит, то потому лишь, что американская актриса тоже ничего об этом не говорит.

— Активистка и вправду говорила о бомбах и плотинах. Но не нужно забывать, что активистка — еще и актриса, а не трибунал Рассела¹⁶ и не Рэмси Кларк, например. На наш взгляд, необходимо иметь в виду: поскольку она актриса, то Белый дом легко может заявить, что ею манипулируют, что она читает заученный текст. Такая критика может с легкостью погубить все старания актрисы и активистки. И нужно понять, почему это становится возможным. По нашему мнению, причина здесь в том, что актриса-активистка не рассказывает о плотинах ни посредством диалога с вьетнамской актрисой (которая участвует в восстано-

¹⁵ GRP (Gross Rating Point) — сумма рейтингов всех выходов рекламных сообщений в рамках данной рекламной кампании.

¹⁶ Трибунал Рассела — Международный трибунал по расследованию военных преступлений. Был создан в 1966 году по инициативе философа Бертрана Рассела. Президентом трибунала стал Жан-Поль Сартр.

тельных работах, предварительно заделав пробоину), ни посредством показа деревень, которым угрожает затопление.

— Нам также кажется, что если бы активистка начала с этого (подобно тем же вьетнамцам, пригласившим ее), то она смогла бы воспринимать свою роль исторически, а не как в Голливуде. Возможно, вьетнамцы еще не испытывают непосредственной потребности в этом, а вот американцы испытывают. Но тогда, выходит, и вьетнамцы испытывают, хотя и не так явно (здесь возникает необходимость пойти в обход. Вьетнамцам нужно пройти через США, чтобы прийти к чему-либо).

— На этом снимке, на этом отражении реальности, двое сняты с лица, а остальные — со спины. Из этих двоих, один снят резко, другой — размыто. На фотографии американская знаменитость снята резко, неизвестный вьетнамец — размыто. На самом же деле, это американские левые размыты, а вьетнамские левые необычайно резки. На самом деле, это американские правые всегда очень резки, тогда как вьетнамские правые, «вьетнамизация» — все сильнее и сильнее размываются. Как теперь отнестись к «меркам» Джозефа Крафта, отмерившего все противоречия, сознательно выставившего диафрагму и расстояние. Все просчитано, как мы уже увидели, согласно конечной цели — сосредоточиться на звезде, проявляющей активность, и получить таким образом некий продукт, некую идею/товар, соответствующий замыслу. Производство этого изделия, как мы помним, контролируется непосредственно правительством Северного Вьетнама. А вот распространение за пределами Вьетнама им не контролируется. А если и контролируется, то в очень неочевидной форме (мы даже не говорим об обратном воздействии такого распространения на производство). Его распространением занимаются телевизионные каналы и пресса «свободного» мира. Значит, какая-то часть картины ускользает от самих художников. Что это за часть? О какой части какой игры идет

речь? Кто в нее играет? С кем? Против кого? Пока заметим лишь (вернемся к этому позже), что если внимательно изучить соотношение резкости/размытости, выражаемое двумя лицами, можно заметить определенную странность: именно размытое лицо — более резкое, а более резкое — более размытое. Вьетнамец может позволить себе быть размытым, потому как на самом деле он уже давно резок. Американец вынужден быть резким (к чему его с резкостью принуждает вьетнамская размытость). Американец вынужден резкостью прикрывать свою настоящую размытость.

Элементы элементов

— Эта фотография копирует другую фотографию актрисы, вынесенную на обложку того же номера L'Express. Стоит задуматься над тем, что фотография может одновременно и прятать и раскрывать — отсюда и понятие обложки. Она навязывает тишину в тот самый момент, когда начинает говорить. На наш взгляд, это один из исходных технических аспектов Джекилла и Хайда, основной капитал и переменный капитал, становящийся информативным/деструктивным при попытке передать его через изображение/звук нашей эпохе, эпохе развала империализма и общей революционной тенденции.

— Американские левые повторяют, что трагедия происходит не во Вьетнаме, а в США. Выражение лица активистки на этой фотографии — выражение трагедийное. Но эта трагедийность социально и технически порождена собственными корнями, то есть сформирована/деформирована в голливудской школе станиславского шоу-бизнеса.

— Выражение лица активистки заимствовано из «Все в порядке» — третья бобина — актриса, слушающая, как одна из исполнительниц поет Lotta Continua.

— Схожее выражение было у нее и в фильме «Клют», когда она с состраданием и мукой смотрит на

своего друга, полицейского, которого играет Дональд Сазерлэнд, после чего решает провести с ним ночь.

— С другой стороны, такое же выражение лица в сороковых годах использовал Генри Фонда, играя роль угнетенного рабочего в «Гроздьях гнева» Стейнбека, будущего фашиста. Если же еще углубиться в историю кино по отцовской линии актрисы, то станет ясно: это выражение лица Генри Фонда использовал, бросая глубокие, исполненные трагичности взгляды на чернокожих в «Молодом мистере Линкольне» будущего почетного адмирала военно-морского флота Джона Форда. С той же стороны, мы находим это выражение лица в противоположном лагере, когда Джон Уэйн скорбит о жертвах вьетнамской войны в «Зеленых беретах».

— На наш взгляд, это выражение было одолжено (с выгодой) у меняющейся маски рузвельтовского Нового Курса. Следовательно, это выражение выражения, оно возникло по внезапной необходимости в момент экономического рождения звукового кино. Это говорящее выражение, но оно открывает рот лишь для того, чтобы показать: оно многое знает (например, о крахе Уолл-стрит), но ни за что об этом не расскажет. Именно этим, по нашему мнению, рузвельтовская гримаса технически отличается от того, что ей предшествовало в истории кино, от выражений лиц великих звезд немого — Лилиан Гиш, Рудольфа Валентино, Фальконетти и Вертова. Там слышатся слова: фильм = монтаж того, что я вижу. Остается лишь удостовериться в этом, сравнив их лица с лицом вьетнамского ужаса; и они не будут походить друг на друга.

— Дело в том, что задолго до звукового немое кино имело техническим основанием материализм. Актер говорил: я есть (меня снимают) — следовательно — я мыслю («я мыслю» меньше, чем «меня снимают»), и я мыслю потому, что я есть. После появления звукового кино между снимаемой материей (актером) и мыслью встал Новый Курс. Актер стал говорить себе: я мыслю (себя как актера), следовательно, я есть (меня снимают). Я существую потому, что меня снимают.

— Ясно, что благодаря Кулешову¹⁷, который смог значительно углубиться в изучение проблемы, еще до изобретения Нового Курса каждый актер немом кино имел собственное выражение, и сам немой кинематограф имел, таким образом, общедоступное основание. И наоборот — когда кино заговорило языком Нового Курса, все актеры начали говорить одно и то же. Можно повторить этот опыт с любой звездой — в кино, в спорте или в политике (несколько вставок: Рэкуэл Уэлч, Помпиду, Никсон, Кирк Дуглас, Солженицын, Джейн Фонда, Марлон Брандо, немецкие функционеры в Мюнхене 72-го¹⁸, все они произносят: я думаю, следовательно я существую; вставки: трупы вьетконговцев).

— Это выражение лица — многообещающее, но ничего не говорящее — никак не помогает зрителю разобраться в беспросветных личных проблемах (увидеть, например, чем может помочь Вьетнам). Так за-

¹⁷ Попыты кинорежиссера Льва Кулешова («Эффект Кулешова») заключались в том, что он разрезал один план с актером Иваном Мозжухиным на три отрезка, каждый из которых последовательно сопоставил с тремя другими планами: ребенок за игрой, девушка в гробу, тарелка супа. Зрители приходили к выводу, что Кулешов использовал три разных плана с актером, тогда как в каждом случае повторялся один и тот же.

¹⁸ В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене члены организации «Черный сентябрь» (Организация освобождения Палестины) убили двоих израильских спортсменов и захватили девятих в плен. Они требовали от израильского правительства освобождения членов организации из тюрем. Однако Израиль отказался выполнить их требования. Уже в результате переговоров с ФРГ террористам был предоставлен самолет, на котором они вместе с заложниками должны были улететь в Египет. При заходе в самолет палестинцы были расстреляны, израильтяне также погибли во время перестрелки. Одним из результатов этих событий стала ответная операция Израиля — «Божий гнев», целью которой было физическое уничтожение всех людей, причастных к мюнхенскому захвату.

чем удовлетворяться этим и говорить: ну это уже что-то, скоро будет лучше (речи профсоюзников во «Все в порядке», третья бобина). И почему, если актриса еще не готова играть по-другому (а мы еще не способны осторожно помочь ей изменить свою игру), почему вьетнамцы так нетребовательны? И почему нас устраивает то, что вьетнамцев все устраивает? По нашему мнению, мы скорее рискуем навредить им, нежели сделать что-то хорошее, согласившись принять эту удачную сделку (говоря научно: движение от негэнтропии к энтропии не стоит того). В конце концов, это выражение обращается к нам, к тем, кто пытается посмотреть на него еще раз. Это *нам* ничего не говорят этот взгляд и эти губы — они лишаются чувств, как чешские дети перед великорусскими танками, как выпирающие крошечные животики в Биафра¹⁹, в Бангладеше, как ступни палестинцев, погрязшие в заботливо приготовленных БАПОР²⁰ отходах. Лишенные чувств, — внимание! — принадлежащие капиталу, знающему, как замечать следы, знающему, как заполнить пустым содержанием живой взгляд будущих врагов, знающему, когда нужно «отлучиться», заставить смотреть на пустое место.

— Как бороться с подобным положением дел? Конечно же, не прекращая публикации таких фотографий (тогда следовало бы немедленно уничтожить всю сетку теле— и радиопередач практически во всех странах, равно как и печатную прессу, что, конечно, утопия). Нет. Но можно публиковать их по-другому. И именно в этом «по-другому» звездам, в силу их финан-

¹⁹ Биафра — государство в Нигерии. Просуществовало с 30 мая 1967 по 15 января 1970 года. С его отделением от Нигерии началась гражданская война, которая продолжалась вплоть до подписания акта о безоговорочной капитуляции. За время войны погибло около 2 миллионов жителей Биафра (преимущественно — от голода).

²⁰ БАПОР — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Учреждено в 1949 году.

совой и культурной значимости, предстоит сыграть некую роль. Сложнейшую роль, как говорится. И трагедия в том, что они понятия не имеют, как ее сыграть. То же касается и жертвующих собой вьетнамцев, звезд борьбы за независимость. Как сыграть эту роль? Как научиться ее играть? Еще много вопросов появится в Европе и США прежде, чем мы научимся давать внятные ответы. Некоторые вопросы мы задаем во «Все в порядке» (подобно тому, как в свое время Маркс от «Немецкой идеологии» пришел к «Нищете философии», отвечая Прудону, который только и знал, что философствовать о нищете).

— Если внимательно посмотреть на вьетnamца, стоящего позади американской актрисы, сразу станет понятно, что его лицо выражает нечто совершенно отличное от лица американской активистки. Лучше уж не знать, на что он смотрит; если же выделить его, снять его одного, станет очевидным, что его лицо отсылает к тому, с чем он сталкивается каждый день: шариковые бомбы, плотины, выпотрошенные женщины, ремонт дома или больницы по десятому разу; это урок, который нужно выучить (Ленин говорил: «Учиться, учиться и еще раз учиться»). И тот факт, что его лицо отсылает к повседневной борьбе, становится возможным по одной простой причине: это не просто лицо революционера, это лицо вьетнамского революционера. Долгое революционное прошлое впечатано в его лицо французским, японским и американским империализмом. По правде говоря, его лицо уже успело стать лицом революции во всем мире, его узнают даже враги. Не надо бояться слов: это лицо уже добилось независимости своего коммуникационного кода. Никакое другое лицо революционера не отсылает столь прямо к каждодневной борьбе — просто потому, что никакая другая революция, за исключением китайской, еще не шагала так широко, как вьетнамская. Вот, например, негр — мы не сразу поймём, за что именно он борется, где и как: в Детройте, на конвейерах Chrysler за лучшую зарплату, против отупляющего

процесса производства? В Йоханнесбурге, за право пойти в кино, где белые крутят фильмы для белых? А араб, а латиноамериканец, европейская девушка, американский ребенок? Нужна смелость, чтобы признать: глядя на них, сказать нам нечего; разве что: за этой легендой — ложь, которую мы перенимаем; нужна смелость, чтобы сказать: эта самая смелость — не что иное, как признание слабости: мы разбиты, и сказать нечего. И напротив, при взгляде на лицо вьетнамца нам не нужна никакая легенда — кто угодно где угодно скажет: «Это вьетнамец, вьетнамцы сражаются за то, чтобы выгнать американцев из Азии». Рассмотрим отдельно лицо американской актрисы. Становится ясно, что оно ни к чему не отсылает, разве что к самому себе; само же оно есть ничто, затерянное в бесконечности вечной кротости Пьеты Микеланджело. Лицо женщины, не отсылающее ни к какой другой женщине (лицо вьетнамца было функцией, отсылающей к реальности, лицо же американки было функцией, не отсылающей ни к чему, кроме функции). Лицо это могло быть и лицом хиппи, у которой закончились наркотики, и лицом студентки из Юджина, штат Орегон, чей любимчик Префонтейн проигрывает на Олимпийских играх на дистанции 5000 метров, и лицом брошенной влюбленной, и наконец, лицом активистки во Вьетнаме. Это уже чересчур. Слишком много информации в слишком маленьком пространстве/времени. Мы уверены в том, что речь идет об активистке, думающей о Вьетнаме, и одновременно не уверены в этом — поскольку она могла бы думать о чем угодно (в этом мы только что удостоверились). Нужно закончить вопросом: как так получилось, что фотография активистки (или актрисы), не думающей специально о Вьетнаме, была напечатана на месте актрисы (или активистки), действительно думающей о Вьетнаме? Реальность снимка: грим звезды снимается без остатка. Но в L'Express об этом ни слова, иначе это была бы уже революция в журналистике. Для Европы и США сказать, что в настоящее время невозможно

напечатать фотографию того, кто о чём-то думает (о Вьетнаме, о сексе, о Форде, о заводе, о пляже), стало бы началом революции.

— Нам скажут, что мы были неправы, рассматривая отдельно часть фотографии, ведь она же не была напечатана отдельно. Это плохой аргумент. Мы изъяли ее как раз для того, чтобы показать, что на самом деле она и так отчуждена, и что трагедия именно в этой изоляции. Ведь если нам удалось отделить лицо от всего остального, значит, оно само позволило нам сделать это; тогда как лицо вьетнамца не поддается изъятию из контекста, несмотря на то, что находится в изоляции.

— Выражение лица, используемое актрисой, во Франции известно давно. Оно принадлежит картезианскому *cogito* — я мыслю, следовательно, существую — мумифицированному Роденом в его Мыслителе. Следовало бы провезти знаменитую статую по местам больших и малых катастроф, пытаясь разжалобить толпу. Фальшь капиталистического искусства, капиталистического гуманизма тотчас же становится очевидна. Нужно понимать, что звезда не может мыслить, звезда есть социальная функция: она мыслится, она наводит на мысли (достаточно посмотреть на игру таких мыслителей, как Марлон Брандо или Помпиду, чтобы понять, почему капитал нуждается в поддержке подобного искусства, подкрепляющего силу идеалистической философии в ее борьбе с материалистической философией Маркса, Энгельса, Ленина и Мао, представляющих в этой схватке свои народы).

— Мы говорим: давайте, наоборот, отделим лицо американской актрисы. Отделим слово «наоборот» от предшествующей фразы (отделять, делить: революционный передел, говорил Ленин, борется с капиталистическим разделением труда). Итак, мы пришли к тому, что американская активистка и вьетнамец противоположны друг другу. И на самом деле в вымышленной реальности этого снимка происходит, на наш взгляд, ни что иное, как борьба противоположностей.

— Американский взгляд довольствуется *чтением* слова «ужас» во Вьетнаме. Вьетнамский взгляд *видит* американскую действительность в ее ужасном состоянии. Позади фигуры вьетнамца уже стоит замечательная и невероятная конструкция, возведенная Северным Вьетнамом/Вьетконгом.

— Позади фигуры американской звезды до сих пор стоит сомнительная, гнусная капиталистическая машина со стыдливо-циничным выражением лица, создающая препятствия там, где их нет (на этот счет см. картину Лелуша «Приключение — это приключение»). Проще говоря, борьба между «ещё» и «уже», между старым и новым. Борьба, происходящая не только на этапе производства фотографии, но и во время ее распространения, в тот момент, когда мы рассматриваем её. Борьба между производством и распространением, в зависимости от того, кто занимается тем и другим, капитал или революция.

Другие элементы элементов

— Вьетнамцы правы, когда берут на себя ответственность за распространение этой фотографии. Вернее, по-своему правы. Эта фотография играет роль небольшого винтика в общем механизме развития их сегодняшнего военно-дипломатического противостояния.

— Эта фотография — одна из тысяч, которыми вьетнамцы отвечают на военные преступления США, собственной кровью, око за око. Заметь, Джейн, что Вьетконг/Северный Вьетнам редко публикует ужасы, но часто боевые действия.

— На сей раз правительство Северного Вьетнама, представляющее свой народ и представленное здесь Комитетом, который выступает за дружбу с американским народом, решило ответить, прибегнув к помощи актрисы Джейн Фонды. Речь шла об определённой роли.

— В отличие от многих других американцев актриса согласилась на эту роль и приехала во Вьетнам. Она прибыла в Ханой, предоставив себя в распоряжение вьетнамской революции. Отсюда вопрос: как именно она предоставила себя в распоряжение революции? А точнее: как она играет эту роль?

— Американская актриса на этой фотографии своей работой служит вьетнамскому народу в его борьбе за независимость, но она служит не только Вьетнаму, но и США, а кроме того, Европе, поскольку снимок добрался и до нас. Это значит, что мы — те, кто смотрят на этот снимок — едва ли не обязаны спросить: служит ли нам эта фотография? И прежде всего: помогает ли она нам служить Вьетнаму (и именно Вьетнам обязывает нас задать такой вопрос)?

Синтезируемые элементы

— Ни L'Express, ни американская активистка не видят никакой разницы между «Джейн Фонда говорит, расспрашивает» и «Джейн Фонда слушает».

— Для вьетнамцев тот факт, что она говорит (на наш взгляд, для них неважно, говорит она или слушает, поскольку тишина говорит сама за себя, но об этом не сказано ни слова), в данный исторический момент их борьбы, есть важнейший факт. Важно то, что она там.

— Но сегодня, в 1972 году, всё уже не так. И это неизбежно. Нам нужно разобраться в том, какая сила стоит за этим «неизбежно».

— Итак, нам пришлось вскрыть то обстоятельство, что текст под фотографией лгал, когда заявлял, что актриса разговаривает с жителями Ханоя, тогда как на самом снимке видно, что активистка слушает. И для нас (тех, кто нуждается в неоднозначной, а не незыблемой правде) важно дойти до того, что L'Express лжет на всех уровнях; важно заметить, что если печатное издание может солгать, значит, фотография ему это позволяет. На самом деле, L'Express выгодно

(убыток и прибыль) это скрытое согласие, ведь тем самым можно скрыть тот факт, что активистка слушает. Ведь если заявить, что она разговаривает, что она говорит о мире во Вьетнаме, то L'Express не сможет ответить, о каком именно мире идет речь. Таким образом, вопрос перейдет к самой фотографии, как если бы она сама определяла, о каком мире идет речь, хотя мы уже установили, что никакого разговора о мире в ней не содержится. L'Express может так поступать, вероятно, потому что американская актриса не сопротивляется иначе, чем лозунгом «Мир во Вьетнаме», она не задается вопросом о том, за какой именно мир она ратует, в частности, в Америке. И если она еще не задалась таким вопросом, еще не пришла к нему, то дело не в том, что она все еще действует скорее как актриса, а не как активистка, а ровно наоборот — в том, что в качестве активистки она не ставит перед собой никаких принципиально новых задач относительно своей актерской функции — как социально, так и технически. Она не сопротивляется, будучи актрисой, хотя вьетнамцы пригласили ее именно в этом качестве — актрисы-активистки. Она не говорит из того места, где находится сейчас, из Америки, что особенно важно для вьетнамцев. Следовательно, она скрывает кое-что очень важное — тот факт, что на этой фотографии она слушает, слушает Вьетнам, прежде чем начать говорить о нем, а Никсон, Киссинджер и негодяй Портер вообще не слушают, они ничего не хотят слышать на своей авеню Клебер²¹. Вот откуда весь их маскарад, на котором надо сорвать все маски. Сорвать маску с Никсона — не значит сказать: «Мир во Вьетнаме». Ведь он тоже так говорит (и Брежнев заодно с ним). Нужно сказать обратное. Нужно сказать: «Я слушаю

²¹ Авеню Клебер — в отеле Мажестик на авеню Клебер в Париже во время оккупации находилось немецкое командование; с 1946 по 1958 здесь базировалась сначала подготовительная комиссия по созданию ЮНЕСКО, а потом непосредственно сама организация; затем Министерство иностранных дел Франции.

вьетнамцев, и они расскажут мне, какой мир они хотят для своей страны». Надо сказать: «Так как я американец, мне остается заткнуться, потому что мне нечего сказать; слово вьетнамцам — они должны сказать, чего они хотят, а я должен слушать и делать то, чего они хотят, поскольку я ничего не понимаю в Юго-Восточной Азии». Остальное — маскарад. Еще раз: не все так очевидно в том, что мы говорим.

— Мы не против масок («Революция идет вперед в масках», говорил когда-то о Кубе Режи Дебрэ²². Маркс и Энгельс, 1848: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»). Однако мы не можем не задаваться вопросами: Что кого скрывает? Кто что скрывает? За и против кого? Именно сейчас можно решить вопрос о социальной необходимости маски, ее стратегической и тактической ценности, ведь мы хотим быть актерами нашей собственной истории, мы, Жан-Пьер и Жан-Люк, нашей истории, так же как ты, Джейн, — своей (мы видим освободительные войны рабочего движения как историю, которую они, ее актеры, хотят делать сами, а не по сценарию, написанному Капиталом и ЦРУ). Именно сейчас мы можем раз и навсегда определить социальную необходимость актера в той или иной схватке. В экономическом смысле мы можем определить ценность его использования, определить его социальную полезность в обмен на взгляд, воспроизводимый на этой фотографии, и никогда более не верить в уникальность его меновой стоимости.

— Возможно, в долгосрочной перспективе Вьетнам уступит то, что, казалось бы, завоевал в краткосрочной, распространяя обмен взглядами между американской звездой и жительницей обстреливаемого Ха-

²² Режи Дебрэ — французский писатель, государственный деятель. Принимал участие в вылазке Че Гевары в Боливию, был схвачен властями. Под пытками подтвердил, что Че находится на территории Боливии. По возвращении во Францию в 1973 году принимал активное участие в политике и государственных делах.

ноя. Настоящий вопрос, таким образом: кто контролирует обмен и какие у него цели?

Первые выводы

— «В конце концов», — говорят писатели и философы. «В конечном счете», — говорят банкиры. Мы видим, что исследование, посвященное этой фотографии, приводит к правильной постановке вопроса, к правильному экспонированию (мы по-прежнему говорим о фотографии) проблемы звезды. Кто вершит Историю — звезды, герои или же народы?

— В таком случае нужно поставить вопрос о представительстве, вопрос репрезентации. Кто что представляет, как именно? «Я представляю немецкий рабочий класс», говорит немецкая Коммунистическая партия, прежде чем перебросить свои основные отряды под Сталинград, который вскоре будет взят в кольцо. «Я представляю социализм», — говорит молодой кибуцник²³, выращивающий апельсины на арабской

²³ Кибуцник — член сельскохозяйственной коммуны в Израиле. Первый кибуц был организован в 1909 году. Особенно интенсивно движение кибуцев развивалось после установления британского влияния в подмандатной Палестине. После создания в 1948 году государства Израиль количество кибуц и кибуцников начало снижаться. Ханна Арендт в «Пересмотренном сионизме» (1944) пишет: «...им удалось создать новый тип еврея и даже новый вид аристократии, установившей новые ценности: искреннее презрение к материальному благополучию, эксплуатации и буржуазной жизни; уникальное соединение культуры и труда; строгое осуществление социальной справедливости внутри их небольшого круга; любовно-гордое отношение к плодородной почве, которая является делом их рук, а также удивительное отсутствие всякого стремления к личной собственности». Арендт отмечает, что движение это, несмотря на свои социалистические и национальные корни, было крайне аполитично. После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера кибуцники поддержали решение сионистской организации о торговых отношениях с фашистским режимом. Взамен фашист-

земле, чтобы увеличить доходы банка Леуми²⁴. «Я представляю американскую стабильность», — говорит Ричард Милхаус Никсон. Одни — как вытяжка, другие — как дыхание. Но в данном случае это одно и то же.

— Нам показалось уместным сделать то, чего никогда не делают журналисты, а именно — расспросить фотографию, которая также репрезентирует реальность; не просто какую-то фотографию, и не какую-то там реальность. Значит, и не как-то там репрезентирует.

Вторые выводы

— Наше желание расспросить фотографию появилось не на пустом месте. Механизм «Все в порядке» также функционирует с помощью звезд. Звезд из звезд, ведь речь идет о влюбленной паре (фаворите всех сценариев голливудской империалистической системы), сыгранной двумя звездами капиталистической системы, а к ним прилагается звездный режиссер. Все эти звезды в фильме делают не что иное, как прислушиваются к гулу забастовки рабочих, совсем как Джейн Фонда, слушающая грохот вьетнамской революции на фотографии. Но на фотографии об этом никто не говорит. В отличие от фильма, где все проговаривается.

— Можно сказать, что вьетнамцев интересует перемещение американской звезды. Именно этим перемещением они демонстрируют свою силу и справедливость своей борьбы. Но этим перемещением восполь-

ская Германия должна была обеспечить «благополучие немецкого еврейства». «Тем самым они еще раз подчеркивали тот факт, что их интересует только существующий ныне и будущий ишув, еврейское поселение, и что они совершенно не желают становиться протагонистами всемирного национально-освободительного движения».

²⁴ Леуми — национальный банк Израиля. Первоначально называвшийся Англо-Палестинская компания банк Леуми. Был основан в 1902 году в Лондоне.

зовались силы капитала, которые перешли в атаку. Мы же должны воспользоваться перебросом военных сил капитала, чтобы атаковать самим.

— На наш взгляд, вместо этой фотографии должны быть две другие, содержащиеся в этой первой: старая фотография и новая фотография; под старой должен быть новый текст, а под новой фотографией — старый.

— Получилось бы так: мне весело во Вьетнаме, ведь, несмотря на бомбы, здесь живет надежда на революцию; в Америке же мне грустно, несмотря на весь финансовый рост, ведь будущее схлопнулось.

— Реальность — вот она — два звука, два изображения, старое и новое, их комбинация. Империалистический капитал говорит, что два сливаются в одно (и показывает только твою фотографию), а социальная и научная революция говорит, что один делится на двое (и показывает, как новое борется со старым в твоей стране).

— Конечно, еще много можно было бы сказать. Надеемся, что в США у нас будет время увидеться, обсудить все это со зрителем. В любом случае, удачи.

Давид Фару
**«ВЕРТОВИЗМ» ГРУППЫ
 ДЗИГА ВЕРТОВ²⁵**

Текст Жан-Люка Годара, публикуемый ниже, имеет необычайную важность для понимания периода, связанного с группой Дзига Вертов. По признанию Жан-Пьера Горена, сделанному ближе к концу существования группы, этот насыщенный период дал очень мало теоретических текстов.

Данный текст — один из немногих опубликованных. Этот текст своей основной проблематикой демонстрирует разрыв Годара с теоретическими концепциями, как предшествующими, так и последовавшими после группы «Дзига Вертов», на которые наибольшее влияние оказали Базен, Мальро и Кокто²⁶. Он утверждает примат «отношений образов» над собственно образами, что хорошо отражено в реплике, брошенной Жан-Пьером Гореном во время работы над фильмом «Ветер с востока» (*Le vent d'est*, 1970): «Это не образ всего, а всего лишь образ». Отказываясь от онтологии

²⁵ О неизвестном манифесте и неоконченном фильме («До победы» / *Jusqu'à la victoire*/). Текст опубликован в книге «Жан— Люк Годар. Документы» / *Jean— Luc Godard. Documents*/ (Editions du Centre Pompidou, 2006). Перевод К. Адибекова.

²⁶ Речь идет, в частности, о базеновской концепции, изложенной в книге «Онтология фотографического образа» (1945), а также о призыве Жана Кокто «снимать смерть за работой». Последний, в частности, используется в фильме «Здесь и там» (1974) как рефлексия об участвовавших в съемках активистах ФАТХ, погибших спустя некоторое время после окончания работы. (*Здесь и далее в тексте прим. перев.*)

или имманентности образа, Годар утверждает и развивает вертовский принцип господства роли монтажа. Но монтаж Вертова — это не просто монтаж, он не сводится к необходимой технической операции: с помощью отношений образов, которые он применяет или предлагает, выстраивается логическая причинно-следственная последовательность сравнений; таким образом, вырабатывается концепция мира, способная восстановить причины репрезентаций. Такой монтаж есть опредмеченная кинематографическая мысль. Необходимость возвращения к критической функции монтажа, который не рассматривается более как произвольное объединение, но как организация отношений образов, обусловила дальнейшую работу группы «Дзига Вертов». В фильме «Борьба в Италии» (*Lutte en Italie*) основной задачей еще было максимальное упрощение каждого плана, взятого отдельно, для того чтобы перенести основную нагрузку на их диалектические отношения между собой. И только в более поздних картинах монтаж сможет войти внутрь самих планов, как, например, в случае повторяющегося тревеллинга во «Все в порядке» (*Tout va bien*). Может быть, это просто новый тип тревеллинга, близкий к горизонтальному монтажу Абея Ганса?²⁷

Вернувшись к основной концепции монтажа, Годар вскрывает механизм, с помощью которого информация становится дезинформацией: цепочка фактов, объясняющих «событие», систематически перекрывается «единым» изображением самого события. Декодирование этого процесса уступает место изображению самого факта, который, становясь событием, сходит за информацию, тогда как на самом деле этот факт считывается, становится понятным только в динамическом восприятии, которое представляет его как ре-

²⁷ Режиссер Абель Ганс изобрел технику Polyvision (тройной экран), чем инициировал теоретическую дискуссию о том, что «горизонтально-одновременный» монтаж привносит в привычный «вертикально-непрерывный».

зультат, а не как данность. Марксистская философия (диалектический материализм), к которой в то время склонялся Годар, делает его восприимчивым к диалектичности динамики процессов и, в то же время, ориентирует к конкретным материалистическим процессам. Через эту призму он станет понимать образ, изображение как отражение, а это отражение как «обязательно вымышленное»²⁸.

Этот теоретический текст, включающий в себя размышления и собственный опыт группы «Дзига Вертов», подписанный Жан-Люком Годаром, появился в 1970 году в официальном издании ФАТХ²⁹. Здесь необходимо отметить обстоятельства, которые обусловили его написание и публикацию.

Опубликованный в июле, этот текст, название которого нам неизвестно³⁰, возможно, перерабатывался в течение июня (на что указывает аллюзия на «июньский кризис», случившийся между 6 и 10 июня³¹). На тот момент группа «Дзига Вертов» была занята работой над своим «палестинским» фильмом «До победы» (*Jusqu'à la victoire*).

Ниже приводится отрывок из описания секвенции, напоминающего раскадровку, опубликованного в ка-

²⁸ Ж.-Л. Годар в фильме «Китайка» (*La Chinoise*) цитирует Алена Бадью: эстетический эффект это «не отражение реального, но реальное этого отражения» («Анатомия эстетического процесса», июль 1965).

²⁹ ФАТХ — Движение за национальное освобождение Палестины.

³⁰ В сборнике «Палестина и кинематограф» (1977) этот текст Годара озаглавлен «Манифест».

³¹ 6 — 7 июня 1970 года, параллельно с проходившим в Каире VII Палестинским национальным советом, в Аммане небольшие группки, выдающие себя за палестинское движение сопротивления, начинают провоцировать настоящих членов ФАТХ. Они подбивают иорданские вооруженные силы вторгнуться в лагерь палестинских беженцев (9 июня). На следующий день вооруженные силы ФАТХ вынуждают короля Иордании вступить в переговоры, в результате чего кризис сходит на нет.

надском журнале, который так и не был напечатан во Франции. Он дает приблизительное представление о первоначальной концепции фильма. Этот документ даже в большей степени, чем сценарий, указывает на то, что по сути монтаж в «До победы» предшествует съемкам³² (что согласуется с вертовской концепцией монтажа). Огромное значение интервала между данным этапом работы над так и не завершённым фильмом группы «Дзига Вертов» и собственно фильмом Жан-Люка Годара и Анн-Мари Мьевиль «Здесь и там» (Ici et ailleurs, 1974) побудило авторов написать французским издателям манифеста июля семидесятого года:

«Мы не считаем, что фильм, который в данный момент называется “Здесь и там” (и который изначально назывался “До победы”), соотносится с программой, заявленной в эти строчки. Мы воспроизводим его как некий “документ”, опубликованный в 1970 году в бюллетене ФАТХ, который ни разу не был напечатан в Европе.»

Меж тем, пять глав, образывавших фильм в его первоначальной форме («Народная воля», «Вооруженная борьба», «Политическая работа», «Продолжающаяся война» и «До победы») отнюдь не были предназначены стать завершённым фильмом, на что указывают запи-

³² Из статьи «Двадцать один год спустя» Элиа Санбара, переводчика и гида группы во время палестинских съемок, опубликованной в журнале Trafic №1 (1991): «Во время путешествия Годар постоянно просматривал свои записи, вносил пометки, вычеркивал целые абзацы при помощи трехцветных карандашей. Пока шла работа над фильмом, подготовка к съемкам всегда была одинаковой. Годар много писал, однако во время съемок его воодушевление сменялось некой отстраненностью. Сцены были до мельчайших подробностей «продуманы» еще до начала съемок».

си Годара по возвращении со съемок в феврале 1970 года³³:

«Теперь нам необходимо сделать предварительный монтаж, чтобы вернуться с ним в Палестину, чтобы показать его там, чтобы обсудить вопрос о политическом выводе, который будет сделан в конце фильма. Необходимо обсуждать и искать его совместно с ними».

Как сообщает закадровый текст «Здесь и там», гибель большинства протагонистов фильма спустя несколько недель после окончания съемок — «черный сентябрь» — вызвала надлом в группе и перевернуло всю концепцию создания фильма «До победы». Однако проект не был оставлен, о чем Жан-Пьер Горен сообщил два года спустя:

«Фильм о Палестине все еще существует, хотя он сильно изменился. Мы сделали уже то ли третью, то ли четвертую версию, и в ближайшее время снова будем его переделывать на другой лад. Мы уже не можем делать фильм о Палестине, потому что ситуация очень сильно переменилась, так что это будет фильм о том, как нужно снимать историю. В него войдут все палестинские съемки, к которым добавится что-то вымышленное, материалы о французском Сопротивлении времен Второй мировой».

³³ Судя по всему, первая поездка была предпринята в конце 1969 года, следующая — в феврале 1970. Во время второй поездки группа начала съемки по раскадровкам, нарисованным еще в январе. Последний этап съемок происходил в середине июня — начале июля. В этот период Арман Марко и Жан-Пьер Горен все чаще работали вдвоем. Ж.-Л. Г.: «Всем занимался Горен, я же либо спал, либо писал Анн Вяземски, которая собиралась уйти от меня...»

В течение всей первой половины семидесятого года группа занята работой над «палестинским фильмом». Одной из главных задач становится поиск необходимого финансирования. Это привело, например, к работе над картиной «Владимир и Роза» (Vladimir et Rosa, 1971), которая была сделана за одно лето и на которую была потрачена лишь часть суммы, выделенной заказчиком Grove Press. Позднее в закадровый текст первой секвенции фильма была включена фраза о том, что этот фильм был сделан для того, «чтобы оплатить работу над изображениями палестинского фильма». Политические контакты, установленные во время их первой поездки в конце шестьдесят девятого года, привели к замешательству, вызванному противоречиями между различными группами. В результате они предпочли получить заказ от информационной службы ФАТХ, наиболее старой и наиболее влиятельной среди всех. Желание Годара, сблизившегося год назад с «Черными пантерами», вступить в отношения с радикальной палестинской группой не должно было показаться ФАТХ подозрительным. Получение этого заказа позволило группе — об этом сообщает закадровый комментарий в «Здесь и там» — получить \$6000 от Арабской Лиги.

Возможно, отчасти этим объясняется необходимость Годара опубликовать некую заметку в печатном издании ФАТХ: нужно было заверить потенциальных политических спонсоров относительно невымысленности связей Годара с ФАТХ, предоставить подтверждение своей готовности поддерживать их публично.

Однако необходимо объяснить относительность публичности этого текста в этом издании. El Fatah был полуподпольным изданием, выпускаемым в Бейруте, основной корпус текстов которого был на иностранных языках (английском и французском). Элиа Санбар хорошо объясняет причины этого поступка. В атмосфере тех лет, что последовали за 1967 годом, национальные воины имели плохую прессу, поэтому им необходимо было предстать революционными перед ино-

странными организациями, могущими оказать им поддержку. Для этого теоретические тексты заказывались, в частности, активистам ФАТХ, которые преподавали в американском университете в Бейруте. Эти тексты писались — и издавались — непосредственно на английском, поскольку их задачей было не формирование палестинских активистских групп, а влияние на западные активистские образования... Таким образом, данный текст выполнял дипломатическую роль во внешних связях ФАТХ.

Многое объясняет и контекст, в котором Элиа Санбар делает это уточнение: он пытается разобраться в значении другого теоретического текста, опубликованного в El Fatah в 1970 году, и в том, в какие рамки он был заключен. «Палестинская революция и евреи», текст, сочиненный, вероятно, коллективно и подписанный «ФАТХ», пытался разъяснить программный вопрос о том, какова будет судьба евреев, проживающих на территории Палестины, в случае победы революции. Подобное разъяснение было тем нужнее, что лозунг «Евреев в море» как руководство к действию, стал очень распространен среди националистических палестинских течений. Необходимо было показать, что это не есть концепция ФАТХ, отказывавшегося от любого смешения евреев, сионистов и израильтян. Один из отрывков текста Годара также затрагивает этот вопрос:

«Недостаточно показать ребенка, «цветок» и сказать «Вот поколение победы». Нужно показать почему и как именно. Ребенка-израильтянина нельзя показать схожим образом. Изображения, создающие образ ребенка-сиониста, отличаются от тех, которыми создается образ ребенка-палестинца».

Переход от ребенка-«израильтянина» к ребенку-«сионисту», в контексте двух последних предложений, заставляет предположить, что между ними ставится

знак равенства. Тогда как быть «израильянином» — относится к национальности, к гражданскому состоянию, а быть «сионистом» является следствием политической позиции. Этот пассаж без сомнения явился следствием поспешной редакции или же отсутствия политической бдительности, заблуждением Годара на момент подготовки текста. Однако подобный эссенциалистский довод, который усматривает связь между национальной принадлежностью и политической позицией, не был в то время такой уж редкостью (китайцы и северо—вьетнамцы — «красные» и т.д.). Неужели Годар разделяет такую точку зрения? Логично было бы тогда расценивать его как «реакционера» из-за его франко-швейцарского происхождения!

Но здесь можно сбиться с пути, отказав Годару в диалектичности его позиции: она уступает место вопросам онтологии израильянина, сиониста. Но кинематографист говорит об «изображениях», причем с позиции пропаганды. И более чем вероятно, что в случае монтажа, поддерживающего палестинское движение, изображение ребенка— израильянина может быть применено как символ сионизма — символ будущего еврейского государства, его непрерывности, заложенной в детях. Формулировка Годара сама функционирует как монтаж, как движение от одного предложения к другому, использующее слово «израильянин» и слово «сионист» по отношению к слову «ребенок». В последовательности этих фраз происходит то же самое, что и при проецировании изображения ребенка на экран отдельно («ребенок-израильянин»), а затем повторно, но уже в контексте фильма («ребенок-сионист»).

Тем не менее, смысл этого пассажа остается амбивалентным. Но не стоит забывать, что подобная краткость высказывания, безусловно упрощенного, была более чем распространена среди западных левых активистов после 1968 года. И даже с таким пассажем, принцип примата монтажа — вот, о чем сообщает этот текст.

Сегодня, когда так много говорится об изображениях и ничего об их отношениях, через которые и строится смысл и направление движения, разве не очевидна срочность публикации этого малоизвестного манифеста?

Жан-Люк Годар ФИЛОСОФСТВУЯ ЧЕРЕЗ БОРЬБУ³⁴

В июне 1968-го Жан-Люк Годар дал интервью на телевидении, оставшееся неизданным в течение 40 лет. Мы публикуем стенограмму и перевод этой беседы.

Хлопушка. Сцена номер 1

Я хотел бы сначала вас спросить, кто такой режиссер? Это человек, занимающийся «профессией кино», или это нечто больше, чем профессия?

Мне кажется, мы путаемся во всех этих вопросах инициации в кино. Эта «инициация» содержит в себе религиозную основу, которая мне сильно не нравится и которую подразумевает ваш второй вопрос из области дидактики и религиозно-сектантской идеологии.

Кино всегда было в центре вашего внимания...

Когда-то... Такова была единственная возможность им заниматься или в нем существовать, но на самом деле это был способ реформизма. Однако майские события мне открыли глаза³⁵. Теперь я думаю, если мы просто довольствуемся *«быть режиссером»*, то значит

³⁴ <http://kinote.info>. Перевод Станислава Дорошенкова.

³⁵ Речь идет о массовых волнениях в мае 68-го года во Франции и предшествующем им скандале с парижской Синематекой и бойкотом Каннского фестиваля. (Здесь и далее прим. перев.)

мы не более чем некий продукт культуры. Государство именно и хочет нас свести к этому, а его империалистическая идеология в культуре нам это разрешает. Необходимо признаться, если, например, ваша задача имела бы хоть какую-либо связь с кино, она бы никогда не попала на телевидение, поскольку показала бы, что такое есть «фильм». Мы к тому же толком и сами не знаем, что такое «фильм»: «фильмам» мы выучились в Голливуде, у американцев, это они изобрели «изображение». Я позволю себе добавить, мы не больше знаем, что собственно такое «изображение»³⁶. Технологический прогресс «изображения» на телевидении, в прессе и т.д., ничего не поменял, с эпохи Гуттенберга истинное изображение («образ») осталось прежним, обращенным к Богу, создаваемым людьми набожными, иногда при этом иконоборцами, хотя и не осознанными.

Вы следуете определенной концепции кино...

184

(Перебивая.) Мы хотели создавать изображение, но изображение — это не только «картинка». Также и звук, определенный не только в качестве звукового изображения...

Режиссура для вас удовольствие или необходимость?

Это наркотик. Сейчас три четверти людей, которые любят кино и которые борются против коммерческого кино — «наркоманы», точно также как битники, борющиеся против государственных учреждений. Это первая стадия общественного бунта, которая впослед-

³⁶ Французский термин *image* имеет значительно большее количество этимологических значений, чем русское слово «изображение», это и кадр в кино, и фотография в прессе, и образ в литературе. Высказанная Годаром мысль уходит за пределы «киноизображения» к идее иконографического «образа».

ствии должна быть превзойдена. К вопросу, что такое кино. После мая 68 года, например, во Франции некоторые люди собирались в небольшие коллективы и снимали нестандартное кино и пытались показать эти фильмы школьникам, в частности, фильмы мая 68 года, никакие не образцовые, но просто интересные сами по себе, потому что создавались без участия *Pathé*, Голливуда или телевидения. Полиция запрещала показ этих фильмов именно школьникам, то есть тем, кто должен получать знание.

То есть вы хотите сказать, что кино не должно более быть делом специалистов...

Оно никогда им не было. Кино было изобретено человеком по фамилии Люмьер, который был кем угодно, только не специалистом, а затем как раз таки специалисты прибрали к рукам его изобретение, специалисты-банкиры, специалисты по культуре.

Для публики режиссер как раз специалист.

Тогда лучше сказать, что нет режиссеров, и все фильмы принадлежат одному режиссеру, так за всеми французскими фильмами стоит один главный французский режиссер — Шарль де Голль. Разумеется, он их не сам снял, но их смысл, их дискурс — это продукт «голлизма». В этом значении он и его лакеи — режиссеры. В то же самое время французский народ не делает никаких фильмов, он вообще никогда не сделал ни одного фильма. Возьмите, к примеру, любого зрителя на выходе из кинозала и спросите его: *«За всю вашу жизнь вы когда-нибудь видели фильм, который говорит о вас, о том, что такое ваша жизнь, о вашей жене, о ваших детях, о вашей зарплате или хотя бы о части всего этого?»* Никогда. Этот зритель ходит смотреть фильмы о других людях и его настолько надресировали, что он, такой добренький, за это платит деньги.

Вы не думаете, что в современной системе есть как раз возможность для режиссеров как вы создавать именно такие фильмы?

Но, прежде всего, я отказываюсь быть кинорежиссёром в таком смысле, в каком нам позволяли быть. Для меня это как союз между ревизионистами и империалистами. Во Франции нет коммунистического кино, в то время как сейчас французская коммунистическая партия показывает, что она единственная партия в стране и странно, что коммунистического кино нет и не было. Когда об этом говорят, то все сразу отвечают: *«А как же в 36 году был снят фильм?»*

Ренуар?

Ренуар был далек от коммунизма, это такой тип анархиста-бонвивана, который по доброте души сделал один такой фильм, потому что он жил в своем времени. Посмотрите сейчас, что он делает, добавить нечего³⁷. Никто в партии не поддерживает фильмы. Я могу привести вам пример, в Безансоне есть группа людей, которые интересуются кино, мы одолжили им камеры, заплатили за пленку, потому что они были наши друзья, и они сняли их первый фильм. Они попросили помощь у коммунистической партии, и им отказали. И то есть мы сами, так называемые «леваки», должны их спонсировать пленкой. Им такая ситуация тоже не кажется нормальной. Кино нужно связывать именно с такими вещами. Вы, например, пришли меня интервьюировать, потому что часто видели мое имя в газетах.

Но я видел также ваши фильмы.

³⁷ Видимо, Годар критикует последний на тот момент фильм Жана Ренуара «Пришпиленный капрал» 1962-го года.

Да, но это вопрос десятый. Было бы реально интересное проинтервьюировать кого угодно на улице или на заводе и спросить у него: *«Что такое заниматься режиссурой?»* И тут же родилась бы дискуссия. Если опрашиваемый вами человек не знает, вы ищите ответ вместе. Таким образом через год, два или пятнадцать лет, вы придете к совершенно другому определению понятия «режиссер».

То есть вы думаете, что режиссура должна избавляться от режиссера?

Нет, я думаю, что, может быть, кино должно еще пока создаваться кинорежиссерами, но те должны действовать через людей, которые не занимаются кино. Найдя истинный смысл через народ, режиссеры увидят, насколько они неквалифицированные специалисты. Вместо этого мы используем кучу искусственных рефлексов, против которых делаем вид, что боимся, однако только послушайте, что мы говорим, только посмотрите, что мы снимаем... На телевидении это еще хуже. За вашу камеру (*показывает на журналиста*) ставят двадцать человек, хотя достаточно двоих, остальные могли бы снимать другие фильмы.

Значит, можно раздать людям камеры...

(*Перебивает.*) Раздавать камеры — это бессмысленно. «Самовыражение» не имеет смысла. Только лжеискусство «самовыражается». Это Мальро³⁸ утверждает, что *«нужна свобода самовыражения»*, это бессмыслица, потому что даже со всеми этими либераль-

³⁸ Писатель, а также министр культуры Франции, уволивший в феврале 1968 года бессменного директора и основателя французской синематеки Анри Ланглуа, что явилось причиной массового протеста деятелей кино, а затем и широких общественных масс. Сам этот протест стал своего рода буревестником майских событий.

ными убеждениями, они разрешают самовыражаться одним и не разрешают другим.

Какой же выход?

Прекратить снимать фильмы для империализма, прекратить снимать фильмы для *ORTF*³⁹ или снимать исключительно фильмы, которые они не могут транслировать, когда же таких фильмов станет много, они будут вынуждены их показывать. Это должно превратиться в каждодневную задачу. Может быть, кому-то покажется, что так легко рассуждать, однако я всегда так и делал, с самого начала, даже если иногда и неправильно. Нужно учиться отказываться. Вы же вынуждаете меня читать лекции, как учителя, а я не хочу быть учителем, я не хочу быть ни учителем, ни учеником, но одновременно и тем и другим. Конечно, иногда мы знаем, что сказать, не только потому что наше имя было напечатано в газетах и не потому что у нас много опыта, опыт опыту рознь, сейчас нужен новый опыт. У немногих режиссеров был опыт кино, который необходимо заимствовать. Например, он был у некоторых русских режиссеров сразу после революции, у таких людей, как Эйзенштейн или Дзига Вертов и которым довольно быстро воспрепятствовали и поставили их на более «ровную» почву.

Вторая хлопушка

Как Вы полагаете, может ли быть выход для режиссера?

³⁹ Бюро французского телерадиовещания (*office de radiodiffusion télévision française*), упрямое 31-го декабря 1974 в связи с реформой. В данном случае заказчик интервью. Один из слоганов бастующих в мае 1968 года был «*ORTF: Полиция вам вещает каждый вечер в 8 часов*».

Безусловно, через практику занятий кино вне «фашистских лавочек». Значит, если вы находитесь внутри них, необходимо брать на себя ответственность, что сложно. Скажем, если вы находитесь в армии, то любое пререкание намного сложнее осуществимо, чем на каком-нибудь маленьком предприятии или, например, в театре. *(Годар указывает на снимающую его камеру.)* Вот сейчас мы делаем то, что, на мой взгляд, не нужно делать. Мы критикуем, в то же время делаем обратное. Было бы интереснее взять вашу пленку, раз за нее уже заплатили, ее использовать, ничего на нее не снимая. Тогда это станет формой протеста *(Годар резко встает и прикладывает ладонь к объективу, снимающей его камеры. Темный экран в течение некоторого времени)*. Таким образом мы раточаем пленку, купленную ORTF. *(Годар возвращается на свое место.)* И так нужно делать регулярно. Это практический совет. А то, что происходит? *(Обращается к журналистам.)* Пять человек стоят и слушают, как я им читаю лекцию, а мне нечему вас учить. Я не знаю, ты *(указывает на кого-то за кадром)* или ты *(указывает на интервьюера)* лучше бы мне ответил, что нужно сказать для ORTF. Профсоюзный оператор, который снимал в мае де Голля и который при этом выступал против него на забастовках, тем не менее снимал де Голля хорошо. Следуя здравому смыслу, этот оператор должен был бы выступить с забастовкой именно на своем уровне оператора, но он этого не сделал, и в правительстве это прекрасно понимают, намного лучше, чем мы полагаем. Однако, это единственный для нас способ борьбы против оружия.

Саботируя?

Не саботируя. Есть многочисленные способы. Активисты кино, например, все больше воруют пленку у ORTF, и это очень хорошо. Надо сказать, на 80 процентов существующее кино на уровне текста и смысла вдохновлено фашистами, потому что оно подчинено

правилам грамматики и идеологии, равно как и прес-са.

Что же сделать, чтобы изменить правила этой грамматики?

Для начала подумать, потом еще подумать, а затем делать совершенно другие вещи с людьми, которых никогда не учили правилам этой грамматики. Нужно идти к безграмотным, к не умеющим читать, к париям, «лишенным кино». Некий тип собирает 800 тыс. зрителей на фильм с Луи де Фюнесом, а другой тип лишен кино, и доказательством этого служит тот факт, что он идет смотреть фильм с де Фюнесом.

Когда революция будет сделана, какой тип кино...

(Перебивает.) Революция так не случается, на это уходят десятки, сотни лет. Единственная страна, которая прекратила производство фильмов одновременно с закрытием университетов, это был Китай. Это меня глубоко потрясло. В то время как в этом мае во Франции все были на забастовках, даже театр Могадор⁴⁰, даже футбольный клуб Реймса, все было закрыто, однако кинозалы единственные работали, профсоюзные или непрофсоюзные, без разницы, и работали наоборот усиленно. Даже газеты не выходят, однако просмотр кино это вне забастовок. Протестующие не протестовали только против киносеансов. В Китае же они прекратили, потому что заметили, что их фильмы сделаны по русским моделям, а русские фильмы в свою очередь сделаны по американским моделям. И они решили, что так нельзя продолжать. Можно делать время от времени фильм: к 1 мая, или об атомной бомбе, или о председателе Мао — о вещах настолько важных, что их необходимо показывать, снятых, как

⁴⁰ Буржуазный парижский театр.

это делали братья Люмьер, абсолютно неважно каким образом, то есть очень хорошо. Решим сначала актуальные проблемы, а затем будем думать об изображении, поскольку это вопрос запутанный. Уже 2000 лет мы находимся в одной и той же идеологии изображения, поэтому стоит прекратить.

(Тут журналист и Годар начинают говорить одновременно.)

Мы ничего не знаем о рождении живописи. Братья Люмьер уже выглядят устаревшими, через 200 лет это будет вообще потеряно, сейчас это еще возможно датировать, еще возможно изучать русское кино эпохи революции, которое не было изучено на уровне более значимом, чем исторический анекдот, ни самими русскими, ни американцами, ни кем-либо. Мы знаем, что Эйзенштейн снял такой-то фильм в таком-то году, однако каковы были его связи в России в то время — об этом мы ничего не знаем, был ли он троцкистом, бухаринистом, сталинистом или ленинистом неизвестно, а это очень важно, он был по горло во всем этом и отсюда рождалось его кино. Сегодня возможны тысячи различных акций, начиная от взрывания динамитом некоторых кинозалов, саботажа или наоборот реставрации некоторых фильмов. Надо делать фильмы, которые не будут показывать *ORTF* или которые будут все же показаны, но после долгой борьбы.

Нужно, тем не менее, снимать кино?

Безусловно. Например, если считается, что нужно быть троим за одной камерой, то попробуйте все сделать самостоятельно или наоборот пригласите восемьдесят человек. Сейчас вас четверо (*о снимающих его журналистах*), на мой взгляд, одного бы хватило. Настаивайте, чтобы вас отправляли снимать одного, либо группой в 250 человек. Так вы вернетесь к настоящим вещам.

Но ведь недостаточно поменять съемочную группу...

Я вам лишь говорю про одну деталь из миллиона. Это не мне нужно, а вам.

Но по поводу содержания фильмов?

Это то же самое. Нечто большое сделайте маленьким. Маленькое сделайте большим. Пробуйте это систематически. Идите к людям, которые не занимаются кино, послушайте, как они говорят, южанин имеет отличный выговор от северянина. Спросите у них: *«Если бы должен был снять свою жену, как бы ты это сделал?»*

Недостаточно просто пойти с камерой...

(Перебивает.) Не имеет никакого значения камера. Прекратите снимать, делайте фотографии. Сделайте мою фотографию и отнесите ее на ваше телевидение.

192

Снято!

Далее идет фрагмент с темным экраном. Голоса

Мне кажется вы говорите ужасные вещи. Кино — это ваша жизнь, можете ли вы прекратить снимать кино?

Нет, я буду продолжать.

Один из ваших ориентиров — братья Люмьер.

Не теперь. Я говорю, что это практический ориентир для некоторых.

Третья хлопушка

Вы часто говорили, что кино и жизнь для вас — это одно и то же.

Вы хотите сказать, что я жил, делая кино, в то время как другие умирали потихоньку где-то на улице.

Вы хотите продолжать жить, и поэтому продолжать снимать кино?

Я не знаю, что такое кино и никогда этого не знал. Другие люди, возможно, смогут это понять, но не я, хотя, конечно, я хотел бы знать, что это такое.

В каком смысле вы будете продолжать?

Снимая фильмы, пытаюсь работать с телевидением, но по-другому, чем раньше, с другими людьми⁴¹.

У вас есть помещение?

Да, монтажная студия. Мы там работаем вместе. Я лично не очень много ей пользуюсь, потому что я пытаюсь делать фильмы проще, без монтажа. Беру пленки Кодак, разной длительностью — две, пять, десять, тридцать минут — и этого мне достаточно. Монтаж сегодня ничто по сравнению с тем, что вкладывали в него русские режиссеры двадцатых годов. Все изображения, которые нам сегодня показывают — ерунда и глупость. Иногда бывает, конечно, что-то интересное, не связанное с кино. Сейчас необходимо делать другое кино во Франции. Активистское кино и звук; то, что не попадет в прессу и на телевидение. Когда происходят забастовки, нужно показывать те кадры,

⁴¹ Речь идет о таких радикальных активистах, как Жан-Пьер Горен, с которым Годар в 1969-м основал группу «Дзига Вертов», снявшую 6 фильмов.

которые не хотят показывать, все то, что запрещают и создают нелегально, как в эпоху движения Сопротивления.

С другой стороны, необходимо также теоретическое кино, способное размышлять над активистскими фильмами, слишком непосредственными, чтобы быть хорошо отделанными, и задача «размышляющего» кино была бы в том, чтобы, опираясь на активистское кино, создавать нечто новое, философствуя через борьбу, создавать поэзию и художественное кино. И если мы не покончим с сегодняшней экономической инфраструктурой, мы никогда ничего не добьемся. Сейчас мы создаем критикующие фильмы, но так как мы работаем на боссов, то эти боссы отказываются их показывать, поэтому нужно, чтобы это были бы конкретные, силовые акции.

Сюрреалисты говорили: кино на службе революции. Что же будет потом?

194

(Годар и журналист говорят одновременно.)

Это только исследования, чтобы стало лучше.

Спасибо.

Вадим Климов
ПРОЩАЙ, ЖАН-ЛЮК ГОДАР

Жан-Люк Годар, родоначальник и ключевая фигура французской Новой волны 60-х, предтеча и главная жертва студенческой революции 68-го, кумир эстетствующих философов и завсегдатаев Музея кино, в этом году снял новый фильм, в котором прощается с языком.

Годар последовательно вытравливал из кино все элементы, кроме речи. Его первые работы имели более-менее связный сюжет, пронизывающий фильм целиком. Затем картины стали распадаться на фрагменты. Забавные ситуации, меткие наблюдения... но, чем дальше мэтр отдалялся от золотых 60-х, тем он ближе оказывался к философической болтовне.

Новый фильм, «Прощай, речь» (Adieu au langage, 2014), не исключение. На этот раз в 3D. Кадры старых картин перемежаются роликами с YouTube, перемежающимися дерганым видео постановочных сцен, перемежающимися стандартной киносъемкой этих же сцен.

Сюжет упрятан под сотней одеял. В описании фильма он эксплицитно выражен следующим образом:

«Он и она — два мира, утративших связь друг с другом. Их единственный проводник — собака. Без слов животное транслирует любовь в оба конца, и эта слабая связь неожиданно крепнет. Но хватит ли ее, чтобы разжечь былые чувства?»

В одном психологическом эксперименте сумасшедшим предложили следующий тест. Нужно было

выбрать пару понятий, между которыми возможна связь. Один пациент связал курицу и коньки. Психологу он пояснил свой выбор так: коньками мы будем резать курицу. Или наоборот.

Сюжет «Adieu au langage» в интерпретации прокатчиков выглядит схожим образом: собакой разжигают былые чувства. Вполне в духе фильма об отмирании коммуникации, стилизованного под учебную работу по монтажу. Школярская эстетика трясущихся видеороликов, замедленных и укрупненных до невразумительности.

Невразумительность — главная черта позднего творчества Жан-Люка Годара. На протяжении всего фильма зритель следит за похождениями собаки, которой пытаются разжечь былые чувства героев, как бы случайно оказывающихся в кадре со своими коммуникационными проблемами. Все это разбавлено цитатами из Фрейда, Дерриды, Фолкнера, Кокто, Бланшо, Арагона, Пруста, Аполлинера, Флобера, Беккета, Сартра, Беньямина и пр.

Кустарная мешанина образов, кадров, мелодий, звуков... Больше всего это напоминает угасание сознания. Приближаясь к финалу, сознание транслирует непонятые в течение жизни сентенции, пытаюсь в последнее мгновение увязать их друг с другом, постичь квантовым образом, мгновенно и все вместе.

70 минут неперевариваемой французской болтовни обо всем на свете, которая так нравится эстетствующим философам.

Любой иностранец знает, как добиться бурной реакции аудитории. Нужно просто пошутить на своем языке. Аборигены, испуганные тем, что кто-то может заподозрить их в незнании чужого языка, будут смеяться, словно дети над самой банальной остротой.

Возможно, под конец жизни Жан-Люк Годар наконец нашел свое призвание. Он иностранец, дурачащийся перед начитанными гуманитариями.

Михель Гофман
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Во второй половине двадцатого века все экономические, социальные процессы были направлены в русло формирования нового психологического массового человеческого типа, виртуального, органично существующего в отрыве от реальности в виртуальной среде массовой информации.

Средства массовой информации позволили создать новые формы отношений, новое мироощущение, новый взгляд на мир и человека в нем. Технология изменяла общественную структуру и общественное сознание значительно эффективнее политических средств и социальных реформ, так как в технологическом обществе большая часть общественных отношений происходит через фильтр технических устройств, используемых индивидуально, телефон, телевизор, компьютер, Интернет. Человек свободен в своем выборе, он может ими пользоваться или нет, но без них сегодня он не может существовать и должен адаптировать себя ко всем окружающим его машинам.

Беспроволочный телеграф, телефон, став общедоступным в начале XX века, предоставил не только огромное количество контактов между людьми, но и само качество общения стало иным. Богатство, разнообразие и нюансы непосредственного контакта было упрощено до плоского голоса в обрезанной модуляции, и абонент, как физический объект, превращался в звуковой фантом.

Сегодня на это никто не обращает внимания, это стало привычной частью жизни, но произвело шокирующий эффект на широкую публику в 20-е годы прошлого века, когда телефон в Америке стал широко

распространенным. В употребление вошло слово «phony», производное от слова «telephone», его активные формы, «phony up», надуть, и »phony it up», выдать одно за другое, и тогда это воспринималось как подмена, подмена реального человека его звуковой фикцией.

После телефона появились кинематограф, телевидение и, наконец, Интернет, создавшие новую культуру жизни, виртуальную культуру, которую, в начале ее появления, называли «phony culture», культура подмены.

«Воображение правит миром, и управлять человеком можно только благодаря воздействию на его воображение», говорил Наполеон. Сила человеческого воображения беспредельна, религиозные идеи, овладев воображением масс, изменяли мир в течение столетий.

В 19-м и в первой половине 20-го века мир изменяла политическая и экономическая идеология, о назначении которой испанский философ Ортега-и-Гассет писал в первой половине 20-го века: «Назначение идеологии состоит в том, чтобы заменить реальный, нестабильный и иррациональный мир на мир, в котором нет места двусмысленности».

В первой половине XX века идеология была, по преимуществу, политической, технические возможности ее распространения были лимитированы, а эффективность ее влияния на сознание также ограниченной, так как она обращалась не к индивидуальному а к массовому сознанию.

К концу XX-века американский футуролог Фукуяма провозгласил наступление «Конца Идеологии», но это был не конец идеологии самой по себе, а конец массовой политической и религиозной идеологии, она исчерпала свои возможности. Информационная революция позволила расширить идеологическую обработку на всем поле общественной жизни. Отвечая на всё многообразие интересов, она смогла растворить общие идеологические концепции во множестве информационных продуктов, внешне совершенно нейтральных.

Идеология поэтому перестала восприниматься как пропаганда, так ее проводит не государственное Министерство Propagанды, а «свободные» средства информации, развлечений и культуры.

В выработку идеологии необходимой системе «...вкладываются огромные средства и используются все виды науки и техники. Вся мощь массовой цивилизации мобилизована для создания непроницаемого барьера между нами и реальными фактами жизни», писал классик американской социологии Даниел Бурстин в 1960-е годы.

Сегодня барьер между реальностью и созданной современными средствами информации картиной мира исчезает, так как факты реальности в них представлены как игровые элементы. В этой игре зрительных и словесных образов всё утрачивает свою стабильность и очевидность, главное в ней движение, развитие, постоянное изменение. Став участником игры, потребитель информации и зрелищ перестает воспринимать мир серьезно, в игре критическое отношение невозможно, оно выглядит смешным и наивным.

Сменяющиеся цветные картинки на телевизионном или компьютерном экране создают ощущение огромной динамики событий, а цель внешней динамики скрыть узость и статичность содержания. Калейдоскоп массовой культуры примитивен как цитатник Мао и, также как цитатник Мао, использует набор элементарных истин. Но, обрушивая на зрителя лавину образов и непрерывного действия, он блокирует возможность разглядеть те несколько цветных стеклышек, из которых калейдоскоп составлен. Назначение этой увлекательной игры не только отвлечь людей от участия в решении фундаментальных для общества проблем, но, нейтрализовав способность отличать реальное от фантазий, скрыть создателей мира иллюзий.

В 70-е годы прошлого века они еще были видны. В таких фильмах, как *The Parallax View*, *Night Moves*, *The Conversation*, они обозначались как военно-

промышленный комплекс. В 90-е годы в фантастическом фильме «The Dark City» на вопрос о том, «кто виноват», ответ был уже другим, это комплекс индустрии массовой культуры.

В фильме город контролируется инопланетянами, проводящими эксперименты над людьми. Каждую ночь инопланетяне меняют личности своих подопытных, каждую ночь новая личность возникает на месте вчерашней. Меняется внешность людей, меняется вся обстановка вокруг. На самом же деле реальность остается неизменной, космические пришельцы создают иллюзорный мир, внутри которого они могут контролировать сознание обитателей города, изменяя лишь их видение мира.

Инструментом изменения и манипуляции сознанием является компьютерная система, охватывающая весь город. В сознание каждого, подвергающегося настройке (turning), закладываются компьютерные образы, состоящие из готовых компонентов, фрагментов из фильмов и телевизионных программ. Память каждого индивида конструируется из готовых, фабрично изготовленных, наборов предпочтений, вкусов и темперамента. Никто не помнит, кем он был изначально, утратив память, горожане становятся бессильны перед манипуляторами.

В другом фантастическом фильме «Трумэн Шоу» герой живет, не зная, что его окружают бесчисленные скрытые видеокамеры, а сам он является невольным участником телевизионной мыльной оперы. В фильме богатый саберб, в котором живут преуспевающие и счастливые люди, легко узнаваем американским зрителем — это и есть «настоящая Америка», в котором живет процветающий средний класс. Городок со стороны выглядит вполне реальным, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это декорации телевизионного шоу, образ, какой должна была бы быть вся Америка.

Здесь все фальшиво: дома из фанеры, цветы из бумаги, шерстяные ковры из синтетики, также

фальшивы люди, не проживающие свою уникальную индивидуальную жизнь, а проигрывающие заданные им социальные роли. Друзья Трумэна Бербанка, его родственники, его жена — актеры. Единственный, кто этого не знает, главный герой. В конце фильма он обнаруживает, что им манипулируют, но изменить что-либо вне его сил. Чтобы выжить в этом искусственном мире, надо его полностью принять.

«Жизнь театр, и люди в нем актеры», говорил Шекспир, но в его время театр жизни был физически конкретен, актеры достоверны, все роли и тексты распределены, зритель знал свое место в партере, и сама линия, отделяющая театр от реальной жизни, осознавалась всеми. В виртуальном театре сегодняшнего дня мир предстает как фантазмагория, в которой нет сценария пьесы, актеры импровизируют в соответствии с моментом, актеры смешиваются с залом, зрители появляются на сцене.

В виртуальном мире всё игра, а в игре никто не задается вопросом о достоверности, истинности происходящего. И хотя мир фантазий еще только начал создаваться, внимательному наблюдателю виден зазор между подделкой и фальшивкой, но большинство участников игры подготовлены всем предшествующим процессом общественного развития к безоговорочному приятию окружающего мира.

В реальном мире человек время от времени чувствует, что им манипулируют, в виртуальном же мастерски создается ощущение полной свободы, независимости, так как кукловоды и механики сцены не видны в массовке, где все манипулируют всеми.

В фантастическом фильме «Матрица», вышедшим на экраны в 1999 году, показывается будущее современного информационного общества. Матрица это гигантская информационная сеть, в которой суперсовременные технологии создали декорации свободы, напоминающие естественные формы жизни. Матрица дает своим обитателям возможность свободно изменять и обустроить среду обитания, но только внутри

правил, обозначенных самой системой. Однако Матрица еще не доведена до совершенства, еще есть диссиденты, пытающиеся ей противостоять. Морфеус, лидер группы сопротивления, пытается объяснить новичку Нео, что такое Матрица: «Матрица — это пелена перед твоими глазами, которая развернута чтобы скрыть правду, и не дать увидеть истину. Это тюрьма для твоего разума».

Тюрьма обычно представляется как физически существующее замкнутое пространство, из которого нет выхода. Матрица это качественно другая тюрьма, тюрьма виртуальная, в ней обитатель чувствует себя свободным, так как в ней нет решеток, клеток, стен. Нечто вроде современных зоопарков, воспроизводящих декорации природы, искусственную, улучшенную среду обитания, ничем не напоминающую железные клетки с бетонными полами старых зоопарков. В современном зоопарке нет клеток, животные могут свободно передвигаться, но лишь внутри невидимых границ. Свобода их передвижений иллюзорна, это лишь фантом свободы, декорации свободы, в которых неослабный и полный контроль перестает быть наглядным, видимым. Благоустроенный человеческий зоопарк современного общества создает ту же иллюзию свободы.

Смена прямого, физически осязаемого контроля на виртуальный произошла настолько внезапно и незаметно для большинства, декорации выполнены настолько достоверно, что сегодня мало кто способен отличить фальсифицированную свободу от свободы реальной.

Как все другие формы человеческого существования, свобода внутри постиндустриального общества виртуальна, то есть она как будто бы есть, и в то же время ее нет. Свобода, как и все другие формы человеческого существования, условна, условность — основное качество, отличающее общество от естественной природы.

Матрица это прообраз будущего, в котором манипуляция физической средой обитания сменяется на манипуляцию знаками, символами, кодами фрагментов реальной среды. В игре знаками, образами вещей, людей, явлений, действий первоисточники всех этих знаков, органическая реальность, исчезает. Как в игре в карты валеты, дамы, короли являются лишь знаковым обозначением статуса карт. Это игра тенями, отражениями реального мира. Отражения, то есть тени вещей, явлений и действий, становятся важнее самой вещи, явления и действия, и, так же как в пьесе Шварца, Тень, отражение человека, становится важнее его самого.

Каждая национальная культура формирует свое особое видение мира. В американской культуре способность воспринимать фантазию как реальность выростала из присущего всей американской истории оптимизма, веры в то, что в этой стране любые фантазии можно претворить в жизнь.

Но реализованные фантазии перестают быть мечтой. Жить в реальности значит остановиться, жизнь в своих глубинных принципах вечна, от библейских времен по сегодняшний день она повторяется, меняются лишь формы, суть остается той же. Для того чтобы заставить людей находиться в движении, мечта должна быть привлекательнее реальности и постоянно обновляться.

Первые американские колонисты новый поселок называли городом, новую школу, с двумя-тремя помещениями для учеников академией, колледж университетом, кампания, открывшая несколько магазинов в различных городах страны, называла себя торговой империей.

Американский публицист Генри Стил Коммаджер: «Их [первых колонистов] совершенно не беспокоил разрыв между идеалом и реальностью. В их сознании идеал и был реальностью. Американец чувствовал, что все возможно, что все ему под силу в этом новом прекрасном мире, и история подтвердила его интуицию».

Стефен Беннет, американский писатель конца 19-го века, следующим образом описывает впечатления нового иммигранта из Европы от только что построенного поселка Дикого Запада. Европейец видит несколько десятков хибар, наскоро сколоченных из досок, образующих нечто, что с трудом можно было назвать улицами, стоящими в середине малярийного болота. Его американский проводник с гордостью называл это убожество городом.

В глазах европейца американец был либо сумасшедшим, либо клоуном, но в представлении его американского проводника это был великий город, потому что он видел не то, что было перед глазами, а то, что было перед его внутренним зрением, и он называл убогий поселок тем именем, под которым он был занесен на карты, — Афины. В Америке множество безликих городков и поселков, носящих названия всех европейских столиц, и у американцев это не вызывает ни смеха, ни иронии, воображение сильнее чувства реальности.

204

Америка, не обремененная традициями и историей, строила новый мир «Разума» в его наиболее чистом, можно сказать, лабораторном виде, в котором фантазии Разума подменили собой реальность.

Французский философ Бодрийяр: «Америка открыла новые возможности восприятия мира, создала новую эру, эру симуляции реальности, где подделка превратилась в саму реальность, где воображение и реальность неразличимы».

Но Америка не была одинока, ту же симуляцию реальности создавали и другие страны. Это общее направление материалистической цивилизации, создающей новый мир, в котором иллюзии должны подменить реальность. Эта сверхзадача была видна уже в самом начале ее становления.

Ее теоретически обосновал еще в 20-е годы прошлого века Максим Горький: «Действительность вполне реальна, но еще не истинна, она только сырой

и грубый материал для создания всечеловеческой истины. <...> Надо поставить вопрос: во-первых, что такое правда? И, во-вторых, для чего нам нужна правда и какая? <...> Если к смыслу извлечений из реального добавить, домыслить, по логике гипотезы, получим тот романтизм, который способствует революционному отношению к действительности, отношения, практически изменяющего мир...»

Оруэлл, комментируя в 1968 году свою книгу «1984»: «Любую фальшивку можно сделать реальностью, если общество изменит само понятие реальности, воспитает новое сознание... Самих понятий правды и истины просто не существует. Правдой является все, что показывается средствами массовой информации (или дезинформации) в данный момент, в следующий момент ее сменит другая правда. Не верьте своим ушам и глазам, верьте только тому, что вы видите и слышите на Телескрине».

Сегодняшний Телескрин, телевидение, контролирующее как сознательное, так и бессознательное в человеке, возникло из нежелания общества видеть мир во всей его сложности, в глянцевых картинках легче жить, чем в сложной, противоречивой реальности.

Телевидение стало тем, что оно сегодня есть, в Америке раньше, чем в других странах мира, так Америка изначально создавала образцовый мир в разветвленной системе декораций. В физической реальности построить его было невозможно, но он возможен в виде плоских глянцевых картинок, за которыми можно скрыть объем, сложность и противоречивость мира.

Рабиндранат Тагор писал об Америке в 1949 году: «Они [американцы] боятся реальности жизни, ее счастья и ее трагедий, и создают множество подделок, строят стеклянную стену, которая отделяет их от жизни, но отрицают само ее существование. Они думают, что они свободны, так же, как муха, сидящая внутри стеклянной банки. Они боятся остановиться

и осмотреться, как алкоголик боится моментов отрезвления».

Во времена Рабиндраната Тагора «жизнь за стеклом» воспринималась как особое, специфически американское качество жизни, так как все ее компоненты складывались на основе развития Американской Мечты, но логика развития материалистической цивилизации превратила в «жизнь за стеклом», жизнь за стеклом телевизионного и компьютерного экрана, в единственно возможную для всего человечества.

В создании этой новой формы жизни участвует множество узких специалистов, не способных видеть конечный результат, а конечный результат, огромная информационная Сеть, покрывающая весь мир, в которой человек перейдет из положения винтика экономики в положение компьютерной ячейки, превратится в один из многих миллионов микрочипов, из которых будет состоять разум глобального компьютера, следящего за всем Мировым Порядком.

Алексис Токвиль, гениальный провидец, еще в начале 19-го века видел будущее цивилизации, когда писал: «Никто не будет в состоянии подняться выше понимания манипулируемой толпы, включая самих манипуляторов».

Токвиль, правда, не мог предвидеть, что технологическая цивилизация во второй половине XX века будет способна контролировать не только внешние формы жизни и поведения, но, проникая в глубины сознательного и бессознательного, создавать человека со стандартным внутренним миром, минимального человека, контроль над которым будет тотальным, абсолютным.

Все общественные системы, созданные человеком с целью улучшения своей жизни в процессе своего становления заставляли его забыть о первоначальных задачах и безоговорочно служить целям самой системы.

Евгений Головин
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ СЕРЬЕЗНОСТЬ

Неизвестно где, откуда и когда появилось серьезное отношение к жизни. Может быть, когда женщина, отстраняя порывистую мужскую руку, возопила: Прощу видеть во мне человека! Может быть когда мужчина, понаблюдав прихотливый полет бабочки, нахмурился и подумал: надо бы узнать, почему она летает и что у нее внутри? Может быть, когда юноша из стихотворения Гейне “Вопросы”, глядя на звезды, принялся их допытывать: Кто там на вас, звезды, живет?

Серьезность — мать сутулости, очков, портфелей и законодательница мрачной моды. Кто когда-нибудь видел веселого преподавателя марксизма-ленинизма? Скорее доведется увидеть небритого милиционера. Каждый, кто учился в советском институте, сталкивался с преподавателями сей дисциплины — мужчинами, одетыми навечно в серые, непристойно дешевые костюмы, и неприступными, неподвижнолицыми дамами без всяких признаков кокетливости или косметики. Таких мужчин не хочется приглашать кататься на чертовом колесе, к таким дамам не тянется порывистая рука.

Но была у советского народа не менее важная и серьезная идеология — романы Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” и “Золотой теленок”. В романах этих осмеяны и оплеваны традиционные сословия. Священники, дворяне, интеллигенты — просто неудачники и тупицы, не поспевающие за прогрессивным ходом паровоза истории. На фоне идиотов-тружеников выделяются два достойных и серьезных героя — подпольный миллионер Корейко, прогрессивный деятель теневой экономики, и великолепный афе-

рист Остап Бендер, автор жизненных максим, с детства усвоенных советским человеком.

Корейко, Бендер, преподаватели марксизма, — все эти люди очень серьезные: одни учат, как добывать деньги нечестным путем, другие, как зарабатывать их честно, испытывая при этом удовольствие. Деньги — это очень серьезно. Их наличие либо отсутствие не возбуждает ни малейшего веселья. Даже бразильские магнаты какао-бобов вряд ли веселились, зажигая свои сигары тысячными банкнотами.

Кстати, о Бразилии. Недавно там произошло грустное событие: карнавал в Рио де Жанейро превратился в платное шоу — вдоль улиц были расставлены трибуны для зрителей. Возможно, нам чужд латиноамериканский стиль — вибрации эминентных прелестей мулаток, гортанные крики извивающихся негров, бешенство тропических колоритов, — однако всегда чувствовалось, что в Бразилии веселятся непосредственно. Теперь там веселятся посредством денег североамериканских телекомпаний. Последнее языческое действо, уцелевшее в современном мире, карнавал, который учредил бог Дионис по возвращении из Индии, потеряло свою красочную многоликость.

Серьезность сковывает наши нервы, замораживает смех, отравляет пробуждение по утрам грызущей заботой. Она разъедает блаженное ничегонеделание и швыряет вопросительными знаками в наше легкомыслие. Над нами занесен бич безымянного “надо”, принуждающий к беспрерывной однозначности. Боясь “пшизофрении”, во имя “искренности”, “правдивости” и “правильного взгляда на жизнь” мы убили в себе второе “я”, которое оставалось спокойным в нашей суете, ироничным в наших победах и смеющимся в наших горестях. Мы убили в себе... шута, выкинули джокера из нашей жизненной игры.

Когда-то шут был важной персоной, без него не обходился не только праздник, но и государственное совещание. Шут — соединитель несоединимого, существо абсолютно внимательное, мыслитель напряженной

секунды. Звон бубенчиков на его колпаке напоминал, что мы живем “здесь” и “теперь”, его двуцветная одежда призывала к пониманию двойственности любой ситуации, любого события, любого ощущения, его гримасы и дьявольские ужимки охлаждали пыл демагогов и ярость диктаторов.

Когда бургундский герцог Карл Смелый хоронил Ле Глорье, своего шута, он сказал: “Все кончено”. Действительно, через неделю он погиб в нелепой стычке со швейцарцами. Но его слова имели еще более пророческий смысл: кончилось веселое Средневековье, наступила эра микроскопов, телескопов, борьбы за счастье человечества, темных костюмов, серьезности, одним словом.

Эмиль Чоран
ОБОСОБЛЕННЫЙ НАРОД⁴²

А теперь я хочу порассуждать об испытаниях, выпавших на долю одного конкретного народа, о его истории, отклоняющейся от курса Истории, о его судьбе, которая наводит на мысль о скрывающейся за ней некой сверхъестественной логике, где невероятное смешивается с очевидным, чудо — с необходимостью. Одни называют этот народ расой, другие — нацией, кое-кто — племенем. Поскольку он не поддается никаким классификациям, то определенное, что можно о нем сказать, грешит неточностью; для него не подходит ни одна дефиниция. Чтобы лучше понять его, следовало бы придумать какую-нибудь особую категорию, ибо все в нем необычайно: разве не он первым колонизировал небо и поместил туда *своего* бога? Столь же нетерпеливо созидающий мифы, как и разрушающий их, он изобрел себе религию, на принадлежности к которой упорно настаивает, хотя и краснеет за нее... Несмотря на свою прозорливость, он охотно предается иллюзиям: он надеется, он всегда питает слишком большие надежды... Странное сочетание энергии и анализа, мечты и сарказма. С таким количеством врагов любой на его месте сложил бы оружие, тогда как он, неспособный утешиться отчаянием, вопреки своей тысячелетней усталости и выводам, навязываемым ему его судьбой, живет в горячке ожидания, упорно не желая извлекать какие-либо уроки из собственных унижений, отказываясь принимать и правило смирения, и принцип безразличия. Он предвосхищает собой

⁴² Глава из книги «Искушение существованием». Перевод с французского В.А. Никитина.

всеобщую диаспору: его прошлое представляет собой «конспект» нашего будущего. Чем больше мы заглядываем в наш завтрашний день, тем сильнее приближаемся к нему. Приближаемся, пытаюсь подалее от него убежать, поскольку с ужасом думаем о перспективе когда-либо полностью ему уподобиться... Он как бы говорит нам: «Вы скоро пойдете по моим следам», — одновременно чертя вопросительный знак над всеми нашими твердыми уверенностями...

Быть человеком — это драма; быть евреем — еще одна драма... Так что еврею досталась привилегия познать человеческий удел *вдвойне*. Он воплощает собой в высшей степени обособленное существование, *совершенно иное* существование, если прибегнуть к выражению, которое теологи употребляют применительно к Богу. Осознавая свое своеобразие, он непрестанно о нем думает и никогда не забывается. Отсюда эта его напряженная поза, этот его неестественный или ажесамоуверенный вид, нередко свойственный тем, кому приходится носить в себе какую-либо тайну. Вместо того чтобы гордиться своим происхождением, афишировать его и кричать о нем, он его камуфлирует. А между тем разве его судьба, не похожая ни на какую другую, не дает ему право смотреть на толпу свысока? Оказавшись в роли жертвы, он реагирует на это на свой лад, как побежденный *sui generis*⁴³. Во многих отношениях он напоминает того змия, который сделался у него персонажем и символом. Не будем, однако, на основании подобной аналогии делать вывод, что у него тоже холодная кровь: тут мы очень сильно ошиблись бы в оценке его подлинной природы, увлекающейся, пылкой в любви и ненависти, не чуждой мстительности и весьма эксцентричной в милосердии. (Некоторые хасидские раввины в этом смысле нисколько не уступают христианским святым.) Склонный во всем перегибать палку, свободный от тирании ландшафта и благоглупостей укорененности, лишен-

⁴³ Специфически, специально (лат.). (Прим. перев.)

ный привязанностей, он всегда оказывается пришельцем, чужаком по своей сути, который никогда не станет *здешним*, и потому, когда он начинает говорить от имени туземцев, от имени *всех*, его речь звучит двусмысленно. Как трудно ему выражать их чувства, становиться их толкователем, когда он берется за эту задачу! Он не увлекает за собой толпу, не ведет их, не поднимает на бунт: труба ему не подходит. Его постоянно попрекают тем, что его родители, его предки покоятся вдали, в других странах, на других континентах. Не имея возможности предъявлять могилы и извлекать из этого пользу, не являясь рупором никакого кладбища, он не представляет никого, кроме самого себя. А если ему все-таки удастся подхватить последний лозунг? А если он оказывается у истоков какой-нибудь революции? Так вот, когда его идеи восторжествуют, а его фразы обретут силу закона, он сам все равно окажется отброшенным в сторону. Когда он служит какому-либо делу, он оказывается не в состоянии оставаться при этом деле до конца. Рано или поздно настает день, когда он оказывается в роли зрителя, в роли человека, утратившего иллюзии. Потом он начинает бороться за что-либо другое, и его постигает не менее жестокое разочарование. А если он решает сменить страну? Его драма продолжится и там: исход — это его опора, его догма, его домашний очаг.

*

Будучи лучше нас и одновременно хуже нас, он воплощает крайности, к которым мы тяготеем, не достигая их: он — это *мы* сверх нас самих... Так как содержание абсолюта в нем превосходит его содержание в нас, то он представляет собой идеальный образ наших способностей как в хорошем, так и в плохом. Его непринужденность при неустойчивом равновесии, его привычка к этому состоянию превращают его в человека не от мира сего, в специалиста по психиатрии и разного рода терапиям, в теоретика собственных не-

дугов. У него, в отличие от нас, отклонения от нормы происходят не по воле случая или от снобизма, а естественно, без усилий, в соответствии с традицией: таково преимущество гениальной судьбы в масштабе целого народа. Больной, постоянно находящийся в состоянии тревоги, он настроен на действие и не способен застопорить мотор, он лечит себя, *двигаясь вперед*. Его невзгоды непохожи на наши; даже в несчастье он отказывается от конформизма. Его история — это нескончаемый раскол.

*

Терпящий издевательства во имя Агнца, он, скорее всего, останется за рамками христианства, пока христианство будет находиться у власти. Но он настолько любит парадоксы — и вытекающие из них страдания, — что, возможно, обратится в христианскую веру, когда ее станут повсеместно шельмовать. И тогда его начнут преследовать за его новую религию. Владелец религиозной судьбы, он выжил в Афинах и Риме и точно так же выживет на Западе, чтобы продолжить свой жизненный путь, испытывая на себе зависть и ненависть всех народов, которые рождаются и умирают...

*

Когда церкви навсегда опустеют, евреи в них вернуться, или, построят другие церкви, или — что наиболее вероятно, водрузят крест над синагогами. Пока же они дожидаются момента, когда о Христе забудут: может, тогда они увидят в нем своего истинного Мессию? Мы узнаем об этом в последние дни Церкви... ибо, если только евреи не станут жертвами какого-нибудь непредвиденного отупения, мы не увидим их коленопреклоненными рядом с христианами и совершающими крестное знамение вместе с ними. Они признали бы в свое время Христа, если бы его не при-

няли другие народы, если бы он не сделался общим достоянием, мессией на экспорт. При римском владычестве евреи были единственной нацией, не пожелавшей принять в своих храмах статуй императоров. Когда же их к этому принудили, они восстали. Их мессианские упования воплощали не столько мечту о покорении других народов, сколько желание истребить их богов во славу Яхве: злополучная теократия, восставшая против политеизма со скептическими замашками. Так как они в империи держались особняком, их стали обвинять в злодействах, поскольку не понимали их изоляционизма, их нежелания садиться за стол с чужаками, участвовать в играх и зрелищах, смешиваться с другими и принимать чужие обычаи. Они доверяли только собственным предрассудкам — отсюда обвинение в «мизантропии», преступлении, приписывавшемся им Цицероном, Сенекой, Цельсом, а вместе с ними и всей античностью. Уже в 130 г. до новой эры, во время осады Иерусалима Антиохом, друзья последнего советовали ему «овладеть городом силою и полностью уничтожить еврейское племя, ибо оно, единственное из всех народов, отказывалось вступать в какие бы то ни было отношения с другими народами и считало их врагами» (Посидоний Апамейский). Нравилась ли им такая роль «нежелательных чужестранцев»? Хотелось ли им с самого начала быть единственным народом на земле? С уверенностью можно сказать лишь то, что в течение длительного времени они являлись буквально воплощением фанатизма и что их склонность к либеральной идее является скорее благоприобретенной, нежели врожденной. Этот самый нетерпимый и самый преследуемый народ сочетает в себе универсализм со строжайшим партикуляризмом. Изначальное противоречие, которое бесполезно пытаться разрешить или объяснить.

Изношенное до дыр, христианство перестало удивлять и шокировать, перестало вызывать кризисы и оплодотворять умы. Оно уже не смущает дух, не порождает у него ни малейшего вопроса. Возникающие от

его присутствия в мире волнения, равно как и предлагаемые им ответы и решения, робки и умиротворительны; оно никогда уже не породит никаких расколов или драм. Оно отслужило свое: глядя на крест, мы теперь уже зеваем... Мы не собираемся предпринимать попыток ни спасти христианство, ни продлить его существование; оно пробуждает в нас разве что... безразличие. Когда-то им были заняты глубины нашего сознания, а теперь оно едва-едва удерживается на поверхности нашего духа, и недалек тот час, когда, изъятое из употребления, оно пополнит коллекцию наших неудачных опытов. Взгляните на соборы: утратив порыв, возносивший их ввысь, вновь став *камнями*, они уменьшаются в размере, становятся приземистыми; даже их шпиль, некогда дерзко устремленный в небо, пораженный микробом земного тяготения, начинает подделываться под нашу умеренность и нашу усталость.

Когда мы случайно заходим в один из таких соборов, то думаем о бесполезности сотворенных там молитв, о растраченных попусту исступлениях и экстазах. Скоро там воцарится пустота. Нет ничего готического в материи, и нет ничего готического в нас самих. Если христианство и сохраняет какое-то подобие популярности, то обязано оно ею «запоздавшим», которые преследуют его ретроспективной ненавистью и желали бы стереть в порошок те две тысячи лет, в течение которых оно непонятно каким образом сохраняло власть над умами. Поскольку этих «опоздавших», этих ненавистников становится все меньше и поскольку христианство никак не может смириться с утратой столь продолжительной популярности, оно постоянно озирается по сторонам, высматривая событие, которое смогло бы переместить его на авансцену современной жизни. Чтобы оно вновь стало «интересным», его следовало бы возвысить до ранга преследуемой секты. Только евреи могли бы взять на себя такую задачу: они привнесли бы в христианство достаточное количество необычности, чтобы обновить его, влив

свежую кровь в его таинства. Если бы они приняли христианство в счастливый для него момент, они разделили бы судьбу многочисленных народов, чьи имена с трудом припоминает история. Чтобы избежать такой судьбы, они его отвергли. Предоставив гоям пользоваться эфемерными преимуществами спасения, они сделали выбор в пользу долговременных неудобств гибели. Неверность? Именно этот упрек апостола Павла в адрес евреев чаще всего слышится и по сей день. Упрек между тем смехотворный, ибо вся их вина состоит как раз в том, что они оказались чересчур верны себе. По сравнению с ними первые христиане выглядят оппортунистами: уверенные в победе своего дела, они с веселым сердцем дожидались мученичества. Кстати, идя на смерть, они следовали обычаем той эпохи, когда любовь к зрелищным кровопусканиям делала возвышенное частым явлением.

Иное дело евреи. Отказавшись принять ставшие модными тогда идеи, решив сопротивляться овладевшему миром безумию, они временно ускользнули от преследований. Но какой ценой! За то, что они не пожелаали разделить непродолжительных мучений новых фанатиков, впоследствии им пришлось нести на себе тяжесть и ужас Креста, который стал символом истязаний именно для них, а не для христиан.

На протяжении всего Средневековья они подвергались уничтожению только за то, что распяли одного из своих... Ни один народ не заплатил так дорого за непродуманный, но объяснимый и, если вдуматься, естественный поступок. По крайней мере, таким представлялся он мне, когда я оказался на представлении «Страстей Господних» в Обераммергау. В конфликте между Иисусом и властями публика, всегда, разумеется, рыдая, принимает сторону Иисуса. Безрезультатно попытавшись сделать то же самое, я вдруг почувствовал себя в зале *одиноким*. Что же произошло? Я очутился на процессе, где аргументы обвинения поразили меня своей обоснованностью. Анна и Каиафа воплощали в моих глазах сам здравый смысл. Они с интере-

сом отнеслись к порученному им расследованию, и их методы показались мне честными. Может быть, они и сами подумывали обратиться в новую веру. Я разделяю их раздражение от невнятных ответов обвиняемого. Безупречно осуществляя разбирательство, они не прибегали ни к каким теологическим или юридическим уловкам: безукоризненный допрос. Их порядочность вызвала у меня симпатию к ним: я перешел на их сторону и одобрил поведение Иуды, хотя его угрызения совести не могли не вызвать у меня презрения к нему. Так что дальнейшее развитие конфликта и его развязка оставили меня равнодушным. И, покидая зал, я думал о том, что своими слезами публика увековечивает двухтысячелетнее недоразумение.

Как ни тяжелы оказались последствия, отказ от христианства явился самым прекрасным подвигом евреев. Это их *«нет»* делает им честь. Если прежде они продвигались вперед в одиночестве по необходимости, то после случившегося стали делать это сознательно, как изгои, наделенные изрядным цинизмом, оказавшимся единственной мерой предосторожности, принятой ими против собственного будущего...

*

Уютно пристроившиеся под сенью Голгофы, пресытившиеся муками большой совести христиане весьма довольны тем, что за них пострадал кто-то другой. Если они порой и пытаются повторить путь страданий Христа, то с какой выгодой для себя! В церкви они стоят с видом барышников, провернувших хорошую сделку, а выходя оттуда, с трудом скрывают улыбку самодовольства от приобретенной без лишних тягот уверенности в спасении. Ведь благодать находится на их стороне, дешевая и сомнительная благодать, которая избавляет их от всяческих усилий. «Праведники» из клоунады, фанфароны искупления, жуиры, щекочущие себе нервы собственными грехами, адскими муками и показным смирением. Если они и терзают

свою совесть, то только в поисках свежих ощущений. Такие же ощущения они доставляют себе дополнительно, терзая еще и вашу совесть. Стоит им обнаружить в ней какие-нибудь сомнения, душевную боль или, скажем, навязчивое присутствие какого-нибудь проступка, какого-нибудь греха, и они вас уже не отпустят: они заставят вас выставить напоказ вашу тревогу, заставят вас громко каяться в своих грехах, а сами в это время будут по-садистски наблюдать за вашим замешательством. Плачьте, если можете: этого они и ждут, милосердные и жестокие, надеясь упиться вашими слезами, поплескаться в ваших унижениях, насладиться вашей болью. Все эти одержимые благими намерениями люди настолько падки на сомнительные ощущения, что ищут их повсюду, а когда не находят, начинают поедать самих себя. Отнюдь не стремясь к истине, христианин млеет от собственных «внутренних конфликтов», от своих пороков и добродетелей, от их наркотической власти. Эпикурец зловещего, он ликует у Креста, сопрягая удовольствие с ощущениями, которым оно вовсе не присуще: разве не он изобрел *оргазм* угрызений совести? Так вот христиане и оказываются всякий раз на коне...

А вот евреи, будучи *избранным народом*, ничего от своего избранничества не выиграли, не получили ни мира, ни спасения... Напротив, избранничество было вменено им в обязанность, как своего рода испытание, как кара. *Избранные без благодати*. Вот почему их молитвы еще более похвальны оттого, что они обращены к Богу, не признающему извинений.

Все это не значит, что нужно осуждать всех неевреев. Но и гордиться последним в общем нечем: они просто спокойно пребывают в составе «рода человеческого»... А вот евреям на протяжении всей истории — от Навуходоносора до Гитлера — в этом праве отказывали. К сожалению, им не хватило смелости возгордиться этим. Они должны были бы возомнить себя богами и кичиться своей непохожестью, должны были бы заявлять во всеуслышание, что они бесподобны и

не желают никому уподобляться, что им нет дела ни до рас, ни до империй. В порыве самоистребления им следовало бы поддержать утверждения их хулителей, давая все новые и новые основания тем, кто их ненавидит... Впрочем, оставим сожаления и не будем суесловить. У кого достает отваги солидаризироваться с аргументами своих врагов? Подобная широта души, практически невыносимая у отдельного человека, столь же маловероятна и у целого народа. Инстинкт самосохранения не красит ни личность, ни общности.

Если бы евреям приходилось сталкиваться лишь с профессиональным антисемитизмом, их драма была бы не столь глобальна. Но, находясь в противостоянии едва ли не со всем человечеством, они знают, что антисемитизм представляет собой не преходящий феномен, а константу и что их вчерашние палачи использовали те же выражения, что и Тацит... Обитатели земного шара делятся на две категории: на евреев и неевреев. Если бы кто-нибудь взвесил заслуги тех и других, то, несомненно, первые одержали бы верх. У них оказалось бы достаточно оснований говорить от имени человечества и считать себя его представителями. Но пока они будут сохранять кое-какое уважение, своего рода слабость к остальным людям, они на это не решатся. Что за идея — желать, чтобы тебя любило все человечество! Они пытаются достичь этого, но безуспешно. Не лучше ли было бы для них после стольких бесплодных попыток примириться с очевидностью, признать, наконец, обоснованность своих разочарований?

*

Нет таких событий, злодеяний или катастроф, в которых не винили бы евреев их противники. Дань уважения — явно несообразная. Не то чтобы мне хотелось приуменьшить их роль; просто справедливости ради их следует упрекать только за те проступки, которые действительно лежат на их совести. Наиболее

значительный их грех состоит в том, что они произвели бога, чья судьба — уникальная в истории религий — поражает и наводит на разные мысли; в нем нет никаких таких качеств, которые оправдывали бы подобный успех: сварливый, грубый, болтливый и сумасбродный, он мог бы, на худой конец, удовлетворить потребности какого-нибудь племени; кто бы мог подумать, что в один прекрасный день он станет объектом ученых теологий и покровителем утонченных цивилизаций? Нет, такое и в голову не могло никому прийти. Если они нам его и не навязывали, то все равно они несут ответственность за то, что придумали его. Это несмываемое пятно на их гении. Они могли бы придумать что-нибудь получше. Каким бы могучим и мужественным ни казался этот Яхве (чью смягченную версию предлагает нам христианство), он не может не внушать нам некоторое недоверие. Вместо того чтобы суетиться, пытаясь внушить к себе уважение, он, с учетом его функций, должен был бы вести себя более корректно, выглядеть более благовоспитанным и более уверенным в себе. Его мучают сомнения: он кричит, бушует, мечет грома и молнии... Разве же это признаки силы? Под его величавым видом проглядывает опасливость узурпатора, который, почуяв опасность, боится потерять трон и терроризирует подданных. Поведение, недостойное существа, то и дело ссылающегося на Закон и требующего от других, чтобы они этому Закону подчинялись. Если, как утверждает Мозес Мендельсон, иудаизм является не религией, а дарованным в откровении законодательством, то кажется странным, что такой Бог стал его автором и символом, ведь в нем нет ничего от законодателя. Не способный сделать над собой ни малейшего усилия, чтобы попытаться быть объективным, он распоряжается правосудием как ему вздумается, не позволяя ни одному кодексу ограничивать его бредни и фантазии. Он деспот столь же трусливый, сколь и агрессивный, с массой комплексов, делающих его идеальным пациентом для психоаналитика. Он явно подводит метафизику, кото-

рая не находит в нем и следа субстанционального существа, уверенного в себе, возвышающегося над миром и довольного отделяющей его от мира дистанцией; паяц, унаследовавший небо и увековечивший на нем худшие традиции земли, он использует грандиозные средства, не переставая изумляться собственному могуществу и гордиться за то, что он дает ощутить его последствия. При всем при этом его горячность, изменчивое настроение, безалаберность и судорожные порывы в конце концов начинают нам импонировать, а то и убеждать нас. Отнюдь не желая ограничиться вечностью, он вмешивается в повседневные дела, запутывает их, сеет смуту и провоцирует склоки. Он озадачивает, раздражает, но соблазняет. При всей своей сумасбродности он не лишен обаяния и нередко пускает его в ход. Вряд ли стоит перечислять недостатки этого бога — ими пестрят на всем своем протяжении неистовые книги Ветхого Завета, по сравнению с которым Новый Завет кажется убогой и умильной его аллегорией. Напрасно стали бы мы искать поэтичность и терпкость Ветхого Завета в Евангелии с его возвышенной обходительностью, предназначенной для «прекрасных душ». Евреи не пожелали признать себя в нем и не попались в западню счастья. Они предпочли уникальность респектабельности, отвергли все, что было чуждо их призванию. «Моисей, чтобы крепче привязать к себе свой народ, ввел новые обряды, непохожие на обряды всех остальных смертных. Над всем, что мы почитаем, у них глумятся; зато принимается все, что у нас считается нечистым» (Тацит).

«Все остальные смертные» — этот статистический аргумент, которым античность злоупотребляла, не утратил своей силы и в новые времена: им пользовались и будут пользоваться всегда. Наш долг — переосмыслить его в пользу евреев, воспользоваться им ради славы евреев. Слишком быстро забывается, что они были обитателями пустыни, что они и теперь носят ее в себе как некое личное пространство и увековечивают ее на всем протяжении истории — к великому удивлению

людей-деревьев, коими являются «остальные смертные».

Возможно, стоит еще добавить, что они не только сделали пустыню своим личным внутренним пространством, но даже *физически* продлили ее в своих гетто. Тот, кто побывал в одном из них (желательно — в восточных странах), не мог не заметить, там нет растительности, там ничего не цветет, там все сухо и уныло: странный островок, мирок *без корней*, под стать своим обитателям, столь же далеким от жизни земли, как ангелы или призраки.

*

«Люди испытывают к евреям, — заметил один из их единоверцев, — ту же неприязнь, какую должна ощущать мука к дрожжам, не дающим ей покоя». *Покой* — вот это все, что нам требуется. Евреи, возможно, тоже хотят его, но он им заказан. Их горячность подгоняет нас, подхлестывает, увлекает. Являя нам образцы ярости и горьких переживаний, они заражают нас своим неистовством, передают нам свою склонность впадать в эпилепсию и отдавать дань стимулирующим заблуждениям, а в качестве возбуждающего средства рекомендуют нам злосчастье.

Если они и выродились, как принято считать, то такой формы вырождения можно пожелать всем древним нациям... «Пятьдесят веков неврастении», — выразился Пеги. Да, но неврастении смельчаков, а не слабаков, дебилов или дряхлых старикашек. Упадок — явление, присущее всем цивилизациям, — их как бы и не коснулся, лишний раз подтверждая, что их судьба, тесно связанная с историей, не историческая по своей сущности: их эволюция не знает ни роста, ни дряхления, ни апогея, ни падения; они уходят корнями бог весть в какую почву, но уж явно не в нашу. В них нет ничего *природного*, растительного, нет никакого «древесного сока», а следовательно, для них невозможно увядание. В их долговечности есть нечто абстрактное,

что отнюдь не является признаком обескровленности, и есть нечто демоническое, стало быть, нечто нереальное и одновременно действенное — своеобразный, окращенный в тревожные тона ореол, какой-то нимб наоборот, навеки выделяющий их из всех прочих народов.

Успешно сопротивляясь вырождению, они не менее удачно избегают пресыщенности, беды, от которой не защищен ни один древний народ, язв, не поддающихся никакому лечению и погубивших немало империй, душ, организмов. А вот евреи оказались чудесным образом защищены от этой болезни. Да и когда им было пресыщаться, если у них не было ни малейшей передышки, ни единого момента полной удовлетворенности, способной вызвать отвращение и пагубной для желания, воли, действия? Поскольку они нигде не могут остановиться, им приходится желать, хотеть, действовать. Вот они сосредоточивают внимание на каком-нибудь объекте. И он уже обречен: для них любое событие лишь повторение разрушения Храма. Воспоминание об обвале и ожидание нового обвала. Застой перемирия им не грозит. Нам тягостно долго пребывать в состоянии вожделения, а вот они как бы никогда из него не выходят, находя в нем своеобразный *нездоровый комфорт*, дарованный общине, хронический экстаз которой нельзя объяснить ни теологией, ни патологией, хотя и та и другая должны участвовать в его изучении.

Загнанные в собственные глубины и страшаясь их, евреи пытаются освободиться от них, вырваться из них с помощью праздной болтовни: они все говорят, говорят... Но им не дается самое легкое в этом мире: оставаться на поверхности самих себя. Слово для них — способ уйти от действительности, а общительность — самозащита. Мы не можем без содрогания представить себе их молчание, да и их монолог тоже. То, что для нас катастрофа, переломный момент в жизни, для них привычное бедствие, рутина; их время состоит из кризисов — преодоленных и тех, что предстоит пре-

одолеть. Если под религией понимать волю человеческого существа к самовозвышению *через свои неудачи*, то они все, как набожные, так и атеисты, несут в себе некие религиозные основы, некую предрасположенность к вере, из которой они постарались удалить все сколько-нибудь похожее на кротость, снисходительность и благоговение и все, что ласкает в ней душу невинных, слабых и чистых. Это набожность без простодушия, ибо среди них нет простодушных, как, в несколько ином плане, нет и глупцов. (Глупость у них, надо сказать, не в ходу: почти все они сообразительны, а те, кто несообразителен — редкие исключения, — на глупости не останавливаются, а идут дальше: они просто блаженные.)

Вполне понятно, что пассивная и тягучая молитва им не по вкусу, а кроме того, она не нравится их богу, который, в отличие от нашего, плохо переносит скуку. Только люди оседлые молятся спокойно и не торопясь; кочевники, вечно преследуемые, должны действовать быстро и спешить, даже простираясь ниц. Дело в том, что они взывают к богу, который и сам тоже является вечно уходящим от погони кочевником, и он передает им свое нетерпение и смятение.

Когда мы уже готовы капитулировать, каким полезным уроком служит для нас выдержка евреев! Сколько раз, мысленно уже готовясь к неминуемой гибели, я вдруг начинал думать об их упрямстве, их упорстве, их столь же обнадеживающей, сколь и необъяснимой жажде жизни! Я обязан им не одним поворотом в моем сознании, не одним компромиссом с отсутствием очевидной необходимости жить. Но при этом всегда ли я воздавал им должное? Далеко не всегда. Если в двадцатилетнем возрасте я любил их до такой степени, что сожалел, что не являюсь одним из них, то некоторое время спустя не в силах простить им того, что на сцене истории они постоянно играли первые роли, я принялся ненавидеть их, ненавидеть их со всей силой переполнявшей меня любви-ненависти. Сияние их вездесущности заставляло меня еще острее

ощущать погруженность во мрак моей страны, обреченной, как я это понимал, выбиваться из сил или даже погибнуть, тогда как они, как я понимал столь же отчетливо, могли рассчитывать выжить, что бы ни случилось. К тому же тогда весь мой опыт сострадания их прошлым несчастьям был сугубо книжным, и я не мог предвидеть их грядущих бед. Думая впоследствии об их муках и о той твердости, с какой они их перенесли, я в полной мере оценил пример и почерпнул в нем кое-какие аргументы против одолевавшего меня искушения одним махом со всем покончить. Но каким бы ни было в разные моменты моей жизни мое к ним отношение, в одном мои взгляды никогда не менялись: я имею в виду свою привязанность к Ветхому Завету, мое неизменное восхищение *их* книгой, являвшейся источником моих восторгов и моих огорчений. Благодаря Ветхому Завету я общался с ними, с лучшим, что есть в их скорбях; в нем же я черпал и утешения, позволившие мне скоротать столько безжалостных ко мне ночей. Я не мог забыть об этом даже тогда, когда мне казалось, что евреи заслужили доставшиеся на их долю унижения. Воспоминания об этих ночах, когда в скорбных шутках Иова и Соломона мне столь часто слышались их голоса, оправдывают мою теперешнюю чрезмерную благодарность. Пусть кто-нибудь другой оскорбляет их взвешенными суждениями! Что же касается меня, то я на это решиться не могу: применять к ним наши мерки значило бы лишить их привилегий, превратить их в простых смертных, в заурядную разновидность человеческого рода. К счастью, они бросают вызов и нашим критериям, и нашему здравому смыслу. Когда задумываешься над судьбой этих укротителей бездны (их собственной бездны), то видишь, что лучше не терять почву под ногами, не уступать соблазну превратиться в обломок кораблекрушения; когда сталкиваешься с подобным неприятием какого бы то ни было крушения, то даешь себе обет подражать им, хотя и понимаешь, что это чересчур самонадеянно, что наш жребий — идти ко дну, отвечая на зов бездны. И

все же, когда мы хоть на какое-то время отклоняемся в сторону от траектории нашего безвольного падения, нам удается немного поучиться у них тому, как находить компромиссы с нашим головокружительным и невыносимым миром. По сути, они являются *учителями существования*. Из всех тех, кто подолгу пребывал в рабстве, только им удалось противостоять колдовским чарам безволия. Находясь вне закона, они накапливали силы. Так что когда Революция предоставила им гражданские права, оказалось, что их биологический потенциал сохранился лучше, чем у других народов. И вот в XIX в. они предстали перед всеми, наконец свободные, в ярком свете дня, предстали и всех удивили: со времени конкистадоров мир не видел такого взрыва энергии и такого бесстрашия. Что за странное, неожиданное и искрометное стремление к господству! Их так долго подавляемая жизненная сила проявилась в полной мере. Их, казавшихся такими незаметными и смиренными, вдруг обуяла жажда власти и славы, неприятно поразившая давно уже не склонное чему-либо удивляться общество, в котором они начали самоутверждаться и в которое этим неукротимым старикам суждено было влить новую кровь. Алчные и щедрые, они проникали во все области коммерции и науки, во всевозможные предприятия, причем даже не ради накопительства, а просто чтобы поиграть ва-банк, чтобы тратить и расточительствовать. Голодные на пышном пиру, разведчики вечности, вынужденные барахтаться в повседневности, они привязаны одновременно и к золоту, и к небу и непрерывно путают блеск одного со светоносностью другого — отталкивающая и одновременно лучезарная мешанина, вихрь гнусности и трансцендентности, — в своих несовместимых качествах они носят подлинное состояние.

Ведь даже и в те времена, когда они жили ростовщицеством, они продолжали подспудно углублять Каббалу. Деньги и тайна — вот мании, которые они сохранили и в своих нынешних занятиях, мании, в ко-

торых невозможно разобраться и которые являются источником их могущества. Ожесточаться против них, сражаться с ними? Только безумец отваживается на это: лишь ненормальный смеет бороться с незримым оружием, коим они оснащены.

В немыслимую без них современную историю они внесли ускоренный ритм, прерывистое, мощное дыхание, а также некое подобие пророческого яда, действие которого не перестает нас озадачивать. Кто в их присутствии может оставаться безразличным? Контакт с ними никогда не бывает бесполезным. В разнообразном психологическом пейзаже каждый из них — особый случай. И хотя некоторые особенности их характера нам известны, немало их загадок все еще остаются неразгаданными. Неизлечимо больные, которых страшится смерть, они открыли секрет *многo* здоровья, здоровья опасного, секрет целебного недуга; они неотступно вас преследуют, терзают и заставляют подняться на уровень их бдений. С другими все обстоит иначе: рядом с другими мы засыпаем. Какое чувство безопасности, какой покой! С другими мы оказываемся как бы «среди своих», мы без стеснения зеваем и похрапываем. И проникаемся апатией земли. Даже самые рафинированные из них выглядят деревенщинами, увальнями, не сумевшими проявить себя в деле. Так они, бедняги, и пребывают в своей уютной фатальности. Чтобы стать кем-то, они должны быть никак не меньше чем гениями. Им не везет: их существование столь же очевидно и приемлемо, как существование земли или воды. Это жизнь спящих стихий.

*

На свете просто не бывает людей менее безликих, чем евреи. Без них в городах стало бы нечем дышать; они поддерживают там лихорадочное возбуждение, без которого любой населенный пункт превращается в провинцию: мертвый город — это город без евреев.

Деятельные, словно какие-нибудь ферменты или вирусы, они вызывают у нас смешанное чувство восхищения и неловкости. Мы никогда не знаем, как нам на них реагировать: как выработать такую линию поведения, чтобы она согласовывалась с их поведением, притом, что они располагаются одновременно и выше, и ниже нас — на уровне, который никогда не является нашим уровнем? Отсюда трагичное и неизбежное недоразумение, в котором никто не виноват. Что за безрассудство с их стороны — привязаться к своему странноватому богу! И как они, должно быть, сокрушаются, глядя на нашу никчемность! Никому и никогда не удастся распутать безнадежно запутанный клубок наших взаимоотношений. Спешить им на помощь? Но нам нечего им предложить. А то, что предлагают нам они, выше нашего разума. Откуда они пришли? Кто они такие? Давайте же подходить ко всему, что связано с ними, максимально озадаченно: тот, кто воспринимает их чересчур определенно, не знает и упрощает их, показывая, что недостойн их крайностей.

Но вот ведь что примечательно: только еврей-неудачник похож на нас, он как бы стал одним из «наших»; он как бы пододвинулся к нам, к нашей условной и эфемерной человеческой породе. Следует ли отсюда делать вывод, что человек — это *несостоявшийся еврей!*

*

Печальные и ненасытные, лишенные иллюзий и страстные, постоянно находящиеся в крайнем одиночестве, евреи воплощают собой крах *в движении*. Если они не поддаются отчаянию, когда, казалось бы, все должно было бы подталкивать к этому, то это потому, что они строят проекты, как другие дышат, потому что они больны проектированием. У каждого из них на протяжении дня возникает бесчисленное множество планов. В отличие от рас, находящихся в состоянии

упадка, они цепляются за предстоящее и вторгаются в возможное: у них в крови непроизвольная тяга к новому, объясняющая и действенность их вымыслов, и их неприятие какого бы то ни было интеллектуального уюта. В какой бы стране они ни жили, они всегда оказываются на острие духа. Собравшиеся вместе, они составили бы совокупность исключений, совокупность способностей и талантов, не имеющих аналогов ни у одной другой нации. А если они занимаются каким-то конкретным ремеслом? Тогда их любознательность отнюдь им не ограничивается; у каждого из них обнаруживаются страсти или капризы, которые несут его дальше, расширяют его знания, позволяют ему овладеть самыми что ни на есть разнородными профессиями, так что его биография населяется уймой персонажей, объединенных единой — и тоже беспримерной — волей. Именно у их величайшего философа возникла идея «упорствовать в бытии»; и это бытие они завоевали в тяжелой борьбе. Их манию проектирования легко понять: усыпаящему настоящему они противопоставляют возбуждающие добродетели завтрашнего дня. Кстати, идею становления один из них сделал в своей философии центральной. Между двумя упомянутыми идеями нет противоречий: становление сводится к проектирующему и самопроектирующему бытию, к бытию, расщепленному *надеждой*.

А вместе с тем разве можно утверждать, что в философии они являются тем-то и тем-то? Если они и склоняются к рационализму, то не столько из любви к нему, сколько из потребности реагировать на некоторые исключаяющие их и доставившие им немало страданий традиции. В действительности же их гений приспособливается к любой теории, к любому идейному течению — от позитивизма до мистицизма. Делать акцент исключительно на их склонности к анализу означало бы обеднять их и совершать в их отношении вопиющую несправедливость. Как-никак это люди, которые очень много молились, что буквально написано у них на лицах, более или менее обесцветившихся

от долгого чтения псалмов. И к тому же только среди них встречаются *бледные* банкиры... Это же что-то значит. Финансы и «De Profundis»⁴⁴ — беспрецедентная несовместимость, возможно, ключ к их общей тайне.

*

Борцы по своей натуре, они являются самым воинственным из народов, ведут себя в любом деле как настоящие стратеги и никогда не признают своих поражений, хотя и оказываются нередко побежденными. Подвергнутые проклятью и... получившие одновременно благословение, они обладают инстинктом и умом, которые не нейтрализуют друг друга, — все у них, вплоть до изъянов, превращается в тонизирующее средство. Как домоседствующему человечеству осмыслить их головокружительный бег-блуждание? Даже если бы евреи превосходили остальных лишь по части нескончаемых крахов, по блестящей манере терпеть неудачу, уже одно это могло бы обеспечить им относительное бессмертие. Их внутренняя пружина служит им превосходно: она *вечно* ломается.

230

Активные и язвительные диалектики, страдающие неврозом интеллекта (что не стесняет их в их предпрятиях, а даже, напротив, толкает их вперед, добавляет им динамизма, заставляет их развивать бурную деятельность), они, несмотря на свое трезвомыслие, постоянно испытывают гипнотическую тягу к приключениям. Нет такой силы, которая заставила бы их отступить. Они не преуспели в тактичности, этом сельском пороке, предрассудке укорененных цивилизаций, подсказанном инстинктом протокольности, — виной тому гордыня людей с обнаженными нервами и задиристый настрой. Их ирония, не являясь ни видом развлечения за счет других, ни формой общительности, ни капризом, отдает подспудной желчностью; в ней много долгие годы накапливавшейся язвительно-

⁴⁴ «DeProfundis» — молитва об усопших. (Прим. перев.)

сти, отравленные стрелы которой способны поражать насмерть. Она вызывает отнюдь не смех, за которым следует разрядка, а судорожную усмешку, в которой отыгрывается дух униженного человека. Ведь нельзя не признать, что евреи — непревзойденные мастера зубоскальства. Чтобы понять или разгадать то, что они говорят, нужно и самому потерять не одну родину, сделаться, подобно им, жителем всех городов, *без знамени* сражаться против всех, научиться у них поддерживать все движения и все их предавать. Задача трудная, ибо, какие бы на нашу долю ни выпадали испытания, все равно рядом с ними мы выйдем погрязшими в счастье и в преданности своему месту чужаками, неопитами и неудачниками в любых невзгодах. Хотя они и не обладают монополией на утонченность, их специфичное мышление тем не менее является самым паразитическим и *самым древним*; такое ощущение, будто они знают все изначально, начиная от Адама, начиная от... Бога.

*

Нет никакого основания обвинять евреев в том, что они — выскочки: ну какие же евреи выскочки, если они прошли сквозь столько цивилизаций и оставили на них свою печать? В них нет ничего нового, ничего импровизированного: начало их одиночества совпадает с зарей Истории; даже их недостатки обусловлены живучестью их старости, избытком их хитроумия и остроты ума, их слишком большим жизненным опытом. Им неведом уют рамок и самоограничения: если им и свойственно какое-либо благоразумие, то это благоразумие изгнанников, благоразумие вызова, благоразумие, которое учит, как победить в условиях всеобщего развала, как продолжить верить в свое избранничество, когда все потеряно. И при этом их еще считают трусами! Верно, конечно, что они не могут похвастаться ни одной яркой победой, но разве не яв-

ляется таковым само их существование, непрерывное, ужасное, лишенное надежды когда-либо закончиться?

Отказывать им в мужестве — значит не понимать ценности и высокого качества их страха, поскольку их порыв от него не спадает, а расширяется, и эта экспансия становится началом наступления. В отличие от настоящих трусов и людей смиренных, они превратили свой страх в принцип гордыни и завоевания. Страх у них не дряблый, а здоровый, буквально способный внушать зависть, состоящий из тысячи испугов, претворенных в поступки.

Благодаря какому-то рецепту, который они не захотели нам раскрыть, наши отрицательные заряды становятся у них положительными: то, что у нас вызывает оцепенение, их зовет в путь. То, что заставляет нас замереть на месте, у них оборачивается бегом вприпрыжку: нет такого барьера, который устоял бы перед их паническим поиском новых горизонтов. Они — кочевники, которым мало пространства, кочевники, которые, покидая один континент ради другого, ищут неведомо какую родину. Посмотрите, как легко они меняют свою национальную принадлежность. Родившийся русским, вот он уже немец, француз, а там глядишь — превратился в американца или еще кого-то. Но, несмотря на метаморфозы, он сохраняет внутреннюю самотождественность; у него есть характер, у всех евреев есть характер. Как же иначе объяснить их способность начинать новую жизнь после страшнейших неудач, способность вновь брать судьбу в свои руки? Это сродни чуду. Глядя на них, испытываешь чувство невероятного удивления и восхищения. Но при этом получается, что они уже в этой жизни приобретают опыт существования в аду. Такова их расплата за долговечность.

Когда у них начинается упадок сил и все уже считают их погибшими, они спохватываются, распрямляются и отказываются от покоя невезения. Изгнанные из своего дома, рожденные апатридами, они никогда не поддаются искушению выйти из игры. В то

время как мы, ученики изгнанничества, недавно утрачившие корни, готовые поддаться склерозу, готовые монотонно катиться по наклонной плоскости или пребывать в равновесии без перспектив и надежды, мы ползком, тихо поспешаем за нашими бедами; наш удел оказывается для нас непосильной ношей. Недостойные ужасного, мы были созданы для того, чтобы прозябать на каких-нибудь сотканных из грез Балканах, а не разделять участь легиона Отборных войск. Мы сделаны не из того теста, из которого делаются скитальцы, мы слишком закоснели в своей неподвижности и лежим, простертые ниц, растерянные, с дремотными желаниями и оголтелыми амбициями. Ведь наши склоненные над землей предки почти от нее, от земли, не отличались. Они никогда не спешили, ибо куда им было идти? Их скорость равнялась скорости пуга: скорость вечности. А чтобы войти в Историю, нужно проявить хотя бы минимум стремительности, нетерпения и живости, что так не похоже на медлительное варварство земледельческих народов, зажатых в рамки Обычая, регламентирующего отнюдь не права, а лишь печали. Ковыряя землю ради того, чтобы в конце концов поуютнее в ней успокоиться, коротая жизнь по соседству с могилой, причем такую жизнь, что смерть казалась по сравнению с ней наградой и привилегией, наши предки завещали нам свой бесконечный сон, свое немое и слегка опьяняющее уныние, свой долгий вздох полуживых.

Мы тоже живем в оцепенении, и наше проклятие действует на нас подобно наркотику, притупляя наше сознание. А вот проклятие евреев напоминает щелчок: оно подталкивает их вперед. Удастся ли им ускользнуть от него? Вопрос деликатный и, возможно, не имеющий ответа. Ясно лишь то, что их трагизм отличается от греческого. У Эсхила, например, речь идет о несчастье личности или семьи. Понятие национального проклятия, равно как и понятие коллективного спасения, элидам чуждо. Трагический герой редко требует отчета от безличного и слепого рока: он принимает веления

судьбы и гордится этим. В итоге погибают и он сам, и его род. А вот Иов пристаёт к своему Богу с вопросами, требуя у него объяснений, предъявляет ему ультиматум какого-то дурного вкуса, который грека, скорее всего, возмутил бы, а нас трогает и потрясает. Ну можем ли мы остаться равнодушными к этим всплескам эмоций, к воплям прокаженного, ставящего Всевышнему условия и осыпавшего его оскорблениями? Чем ближе мы к самоотречению, тем больше потрясают нас эти завывания. Иов воистину принадлежит своей расе: его рыдания — это демонстрация силы, это натиск. «Ночью ноют во мне кости мои», — жалуется он. Кульминацией его жалоб становится вопль, и вопль этот, пронзая небосвод, повергает в дрожь Бога. В той мере, в какой, преодолевая свою слабость и свое безмолвие, мы осмеливаемся кричать о наших испытаниях, мы все являемся отпрысками великого прокаженного, наследниками его безутешного горя и его стонаний. Но слишком часто наши уста остаются сомкнутыми, и Иову, открывающему нам, как возвыситься до его речей, не удастся поколебать нашу инертность. Правда, он находился в более выгодном положении, чем мы, поскольку ему было известно, кого надо ругать или умолять, кому наносить удары или направлять молитвы. А кем возмущаться нам? Такими же, как мы, людьми? Это кажется нам смехотворным. Едва возникнув в мыслях, наши жалобы застревают у нас в горле. Несмотря на пробуждаемые Иовом в нас отзвуки, мы не имеем права считать его нашим пращуром: наши страдания слишком робки. И наши страхи тоже не смеют подать голоса. Не имея ни желания, ни смелости смаковать наши испуги, как можем мы превратить их в стимул или в сладострастие? Дрожь нам удастся без большого труда, но умение управлять собственной дрожью — это уже искусство, что подтверждает история всех бунтов. Тот, кому хочется избежать смирения, должен воспитывать, лелеять свои страхи и превращать их в поступки, в слова, и лучше всего у него это получится, если он возьмет за

образец Ветхий Завет, являющийся настоящим раем содроганий.

Внушив нам отвращение к словесной разнузданности, уважение и послушание во всем, христианство обескровило наши страхи. Если бы оно хотело привязать нас к себе навсегда, ему следовало бы обходиться с нами поглубже и обещать только спасение, сопряженное с риском. Ну чего можно ожидать от коленопреклонения, продолжавшегося двадцать столетий? Теперь, когда мы *встали с колен*, у нас возникают головокружения; подтверждая, что мы всего лишь рабы, освободившиеся неведомо зачем, бунтари, которых стыдится и над которыми насмехается попутавший их бес.

Иов передал свою энергию своему племени. Его братья, жаждущие, подобно ему самому, справедливости, не смиряются перед царящей в мире несправедливостью. Революционный инстинкт у них в крови, и у них даже не возникает мысли о самоотречении; коль Иов, этот библейский Прометей, боролся с Богом, то они должны бороться с людьми... Чем сильнее в их жизнь вмешивается рок, тем больше они против него восстают. «*Amor fati*»⁴⁵ — формула, подходящая для любителей героизма, но никак не для них, поскольку у них и так слишком много судьбы, чтобы цепляться еще и за идею судьбы... Привязанные к жизни до такой степени, что у них постоянно возникает желание ее реформировать, дабы в ней восторжествовало нечто невозможное.

Добро, они бросаются к любой системе, способной укреплять их в их иллюзии. Не существовало на свете такой утопии, какая не ослепляла бы их и не возбуждала бы их фанатизма. Они, например, не просто приняли идею прогресса, а ухватились за нее с чувственным, прямо неприличным пылом. Может быть, безоговорочно принимая ее, они рассчитывали извлечь какую-то выгоду из спасения, которое она обещает чело-

⁴⁵ Преданность року (*лат.*). (*Прим. перев.*)

вечеству вообще, воспользоваться апофеозом всемирной благодати? А самой обыкновенной прописной истины, согласно которой все наши беды начинаются именно тогда, когда мы обнаруживаем вдруг возможность что-то улучшить, — они признавать не желают. Даже живя в тупике, мысленно они отвергают все свои невзгоды. Вечно восстающие против неотвратимого, против своих несчастий, они ощущают себя наиболее свободными как раз в тот момент, когда беда должна была бы полностью парализовать их дух. На что, например, надеялся Иов, сидя на своей куче навоза, на что надеются они все? Оптимизм зачумленных... Согласно одному старому трактату по психиатрии, они дают наибольший процент самоубийств. Если это действительно так, то из этого следовало бы, что они ради жизни готовы сделать над собой усилие, чтобы расстаться с ней; именно оттого, что они слишком привязаны к ней, они не согласны отчаиваться *до конца*. Сила их в том, что они скорее сведут счеты с жизнью, нежели свыкнутся или слюбятся с отчаянием. Они самоутверждаются даже тогда, когда идут на самоубийство: настолько им противно уступать, сдаваться, признавать свою усталость. Невольно возникает мысль, что такое ожесточенное упорство дано им свыше. Иначе никак не объяснишь. И хотя разобраться в их противоречиях и разгадать их секреты не представляется возможным, во всяком случае понятно, почему все религиозные мыслители, начиная с Паскаля и кончая Розановым, проявляли к ним такой интерес.

*

Но вот достаточно ли внимания уделили причинам, по которым эти изгнанники отвергают саму мысль о смерти, доминирующую мысль всякого изгнания, — словно между ними и смертью нет никаких точек соприкосновения? Не то чтобы она оставляла их безразличными, — просто, перестав чувствовать ее, они соз-

нательно смотрят на нее без излишней серьезности. Может, в отдаленные времена они посвятили ей слишком много забот, отчего она перестала их беспокоить, а может, не думают о ней в силу своей почти неуязвимости: только эфемерные цивилизации слишком много размышляют о небытии. Как бы там ни было, впереди они видят только жизнь. И вот эта жизнь, сводящаяся для нас к формуле «Все невозможно», которая, словно для того, чтобы польстить им, подчеркивает смятение, наше безволие, наше бесплодие, эта жизнь будит в них страсть к преодолению препятствий, учит их отказываться от избавления и от любой формы квиетизма. Эти борцы просто закидали бы Моисея камнями, вздумай он говорить с ними на языке Будды, языке метафизической скуки, твердящем об «угасании» и освобождении от страданий. Тому, кто не способен достичь нирваны, нет ни покоя, ни блаженства: абсолют как преодоление любого рода ностальгии — это награда, которая достается лишь тем, кто соглашается сложить оружие. Подобная награда не по вкусу неисправимым задирам, этим добровольцам проклятия, этому народу Вожделения... Как сильно заблуждаются те, кто говорит об их страсти к разрушению! Это они-то разрушители? Скорее, их можно упрекнуть в том, что они недостаточно разрушители. Ведь они несут ответственность за столько наших надежд! Если они и бывают анархистами, то вовсе не оттого, что им хочется что-то разрушить. Они всегда нацеливаются на будущее творчество, на невозможное, может быть, но желанное созидание. А к тому же было бы ошибкой недооценивать единственный в своем роде пакт, заключенный ими со своим богом, пакт, воспоминание о котором и печать которого хранят они все, как верующие, так и атеисты. Сколько бы мы ни выступали против этого бога, он от этого не становится менее явным, менее осязаемым. Он относительно эффективен, как и положено богу племени, тогда как наш, более универсальный, а следовательно, и более анемичный, как всякий дух, вита-

ет далеко и мало на что способен. Древний Союз, гораздо более крепкий, чем новый, позволяет сынам израилевым с помощью их неугомонного Отца продвигаться вперед, но при этом он мешает им оценить присущую разрушению красоту.

*

Идеей «прогресса» евреи пользуются, чтобы устранить разлагающие последствия своего трезвомыслия: она представляет собой их рассчитанное бегство, *желанную* мифологию. Даже они, даже эти прозорливые умы, отступают перед лицом окончательных последствий сомнения. По-настоящему скептиками люди бывают лишь тогда, когда ставят себя за рамки собственной судьбы или когда вообще отказываются иметь таковую. А вот евреи слишком вовлечены в свою судьбу и потому не могут от нее ускользнуть. Среди них нет настоящих Безразличных: не они ли ввели в религию жалобы? Даже тогда, когда они позволяют себе роскошь быть скептиками, скептицизм их является скептицизмом уязвленных. Соломон вызывает в памяти образ Пиррона, но Пиррона изможденно-лирического... Таков один из их предков, наиболее свободный от иллюзий, а уж что говорить об остальных. С какой все-таки охотой они выставляют напоказ свои страдания и демонстрируют свои раны! Но этот маскарад откровенности — не более чем способ *прятаться*. Болтливые и в то же время непроницаемые, они ускользают от вас, даже поделившись с вами всеми секретами. Сколько бы вы ни изучали и ни подвергали классификациям того, кто страдал, сколько бы ни пытались мысленно взвесить, что ему пришлось испытать, его *суть*, его подлинное страдание вам не понять. По мере вашего приближения к нему он будет казаться вам все более и более недоступным. И точно так же вы можете бесконечно долго наблюдать за реакциями *пораженной горем* общности людей,

которая так и останется для вас всего лишь скоплением незнакомцев.

*

Каким бы светлым ни был их ум, в нем все же есть некий подспудный элемент, присутствующий как далекий фон, отчего они пребывают как бы постоянно настороже. Поэтому трудно понять, бегут ли они от опасности или домогаются ее, бросаясь на каждое ощущение с остервенением приговоренных к смерти, словно у них нет времени подождать, словно нечто ужасное подстерегает их даже в преддверии наслаждения. Они судорожно цепляются за счастье и пользуются им без удержу и сомнений, будто посягая на чужое имущество. Слишком пылкие, чтобы быть эпикурейцами, они отравляют собственные удовольствия, наспех глотают их, привнося в этот процесс ярость, мешающую извлечь из них малейшее успокоение: они деловиты в любом смысле этого слова, от самого вульгарного до самого благородного. Их мучает мысль о том, что будет *потом*; а искусство жить — достояние непророческих эпох Алкивиада, Августа или Филиппа Орлеанского — состоит в умении целостно переживать настоящее. В них нет ничего милого сердцу Гёте: им никогда не придет в голову остановить даже самое прекрасное мгновение. Их пророки, непрестанно призывающие Господни молнии, чтобы те уничтожали вражеские города, умеют говорить на языке *непла*. Это ведь их безумствами, должно быть, вдохновлялся святой Иоанн, когда писал самую восхитительно-темную книгу древности. Плод мифологии рабов — «Апокалипсис» представляет собой самое замаскированное из всех, какие только можно себе представить, сведение счетов. В нем все — кара, желчь и грозное будущее. Иезекииль, Исайя и Иеремия хорошо подготовили почву: умело извлекая пользу из собственных смятений и видений, они провели свою кампанию с оставшимся непревзойденным искусст-

вом — их могучий и лишенный четких очертаний дух помог им в этом. Вечность служила им предлогом для того, чтобы извиваться в конвульсиях и биться в судорогах, изрыгая проклятия и распевая гимны под оком обожающего истерики бога. Вот вам религия, где взаимоотношения между человеком и его создателем превращаются в войну эпитетов, создают напряжение, которое мешает им мыслить, мешает трезво оценивать свои разногласия и преодолевать их; это религия, опирающаяся на прилагательные и на языковые эффекты, религия, где стиль оказывается единственной точкой соприкосновения между небом и землей.

*

Если эти пророки, фанатики праха и поэты бедствий, всегда предсказывали одни катастрофы, то объясняется это тем, что они не могли обрести себя ни в ободрающем настоящем, ни в каком бы то ни было будущем. Под видом отвлечения своего народа от идолопоклонства они изливали на него свою ярость, терзали его и хотели видеть его таким же разнузданным и ужасным, какими были они сами. И поэтому его нужно было постоянно подстегивать, постоянно предпринимать усилия, чтобы, подвергая его испытаниям, мешающим ему организовать в обычную смертную нацию, превратить в уникальный народ... С помощью криков и угроз они помогли ему обрести достоинство в страдании и облик подверженной бессоннице и перемещающейся с места на место толпы, которая раздражает аборигенов, прерывая их храп.

*

Если бы мне возразили, что по природе евреи не являются исключительными, я бы ответил, что они таковы по судьбе, судьбе в чистом виде, которая, придавая им силы и наделяя их безудержностью, возвышает их над ними самими и лишает их какой бы то ни было

возможности быть бездарными. Мне можно было бы еще возразить, что они, мол, не одиноки в том, что касается судьбы, что с немцами, мол, все обстоит таким же образом. Согласен, однако не следует забывать, что у немцев судьба (если она у них есть) выкристаллизовалась совсем недавно и что она сводится к трагизму эпохи, по сути даже всего к двум близким по времени провалам.

Эти два народа, испытывающие тайное притяжение друг к другу, не сумели найти взаимопонимания: ну разве могут немцы, эти карьеристы фортуны, простить евреям, что у тех более великая судьба? Преследования рождаются из ненависти, а не из презрения; между тем ненависть равнозначна упреку, который мы не осмеливаемся высказать себе, равнозначна нетерпимости по отношению к нашему идеалу, воплощенному в другом человеке. Кто-то загорается желанием выбраться из своей провинции и завоевать мировое господство, он срывает зло на тех, у кого уже как бы нет границ, питая к ним неприязнь за легкость, с которой они утрачивают корни, за их вездесущность. Немцы ненавидели в евреях собственную *сбывшуюся* грезу, универсальность, которую сами не смогли достичь. Они тоже хотели стать избранными, хотя избранничество не было написано у них на роду. Попытавшись взять Историю приступом — с задней мыслью выйти из нее и преодолеть ее, — они только еще больше в ней погрязли. После чего, утратив все шансы когда-нибудь возвыситься до метафизической или религиозной судьбы, они погрузились в лишнюю таинственности и трансцендентности мону-ментальную и бесполезную драму, которая, оставляя равнодушными теологов и философов, в состоянии заинтересовать лишь историков. Будь немцы поразборчивее в выборе своих иллюзий, они могли бы явить нам зрелище поинтереснее, нежели зрелище самой великой из наций-неудачниц. Делаящий выбор в пользу времени проваливается в него и хоронит в нем свой гений. Избранными *рождаются*, а не становятся с по-

мощью волевых решений и декретов. И уж тем более ими не становятся через преследования тех, кого ревнут к вечности. Не будучи ни избранными, ни проклятыми, немцы ополчились на тех, кто с полным правом мог считаться и тем и другим: так что кульминационный момент их экспансии в далеком будущем будет рассматриваться всего лишь как один из эпизодов еврейской эпопеи... Я называю это эпопеей, потому что как еще можно назвать эту вереницу чудес и подвигов, этот героизм племени, которое из глубины своих несчастий непрестанно выдвигает своему Богу ультиматумы? Развязку этой эпопеи предугадать невозможно: может быть, она наступит в *иных местах*? Или же примет форму катастрофы, скрытой пока что непроницаемой для взгляда наших страхов пеленой?

*

Родина — это снотворное для ежеминутного потребления. Можно лишь завидовать евреям или жалеть их за то, что у них ее нет или что у них есть лишь временные родины с вечным Израилем в мыслях. Что бы они ни делали и куда бы ни шли, их миссия состоит в том, чтобы бодрствовать. К этому их с незапамятных времен подталкивает доставшийся им статус чужаков. Разрешить их проблему невозможно. Им остается лишь находить некое подобие согласия с Неправильным. До настоящего времени ничего лучшего они не придумали. Эта ситуация продлится до конца времен. И именно ей они будут обязаны невезению в смерти...

*

В общем, хотя евреи и привязаны к этому миру, но часть его по-настоящему не являются: в их прохождении по земле есть нечто неземное. Может быть, в далеком прошлом им довелось наблюдать картины истинного блаженства, о которых они хранят ностальгические воспоминания? Что же такое, ускользающее от

нашего восприятия, они тогда *увидели*? Их тяга к утопии является всего лишь воспоминанием, спроецированным в будущее, отзвуком прошлого, превращенным в идеал. Но таков уж их удел — мечтать о райских кущах и наткаться на Стену Плача.

На свой лад элегичные, они пользуются скорбью, будто допингом, верят в нее, обращают ее в стимулятор, в помощницу, в средство вновь обрести — через историю — свое первое, стародавнее счастье. К нему-то они и бегут со всех ног, к нему-то и стремятся. И от этого бега в их внешности появляется нечто призрачное и одновременно триумфальное, что и пугает, и прельщает нас, нас, медлительных ленивцев, заранее согласных на любую, даже самую жалкую судьбу и абсолютно не способных поверить в *будущее* собственных скорбей.

Колин С. Грэй
АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
КРИТИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ⁴⁶

В истории американской стратегии направление, заданное нашей концепцией войны, на протяжении почти всей истории формировало большинство американских стратегов как сторонников метода уничтожения. Однако вначале, когда военная мощь Америки была не столь велика, она дала многообещающее начало воспитанию сторонников стратегии истощения; но само богатство страны и её амбициозные военные цели прервали дальнейшее их развитие, и лишь стратегия уничтожения стала характерным признаком американского образа ведения войны.

Суть вопроса

Цитата выше взята из исследования Рассела Ф. Вейгли со смелым, решительным названием «*Американский образ ведения войны*», ставшего ныне классическим. Это бесценное изложение, широко охваты-

⁴⁶ Russell F. Weigley, *The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy* (New York: Macmillan, 1973), p. xxii. Перевод с английского Ерёмы Аквинского.

вающее стратегическую и военную культуру Америки. Однако многое изменилось с тех пор, как Вейгли написал вышеприведённые слова: они были написаны им в терминальной фазе затянувшейся и, в конечном итоге, бессмысленной авантюры во Вьетнаме. Совершенно очевидно, что типично американский путь не смог обеспечить стратегического и политического успеха в Юго-Восточной Азии. Был ли этот неоспоримый факт результатом повсеместно продолжающейся слабости, присущей нашему американскому способу ведения войны; отражал ли он национальный стиль ведения войны лишь определенного периода времени; или же сам американский образ ведения войны сделал миссию во Вьетнаме невыполнимой? Насколько динамичен сам способ ведения войны? Развивается ли он в степени достаточно далёкой от фиксации в предположительно глубоко укоренённых культурных влияниях? Усилим скептицизм: насколько вообще разумного говорить об американском образе ведения войны? Конечно, легитимность этой идее придаёт и широкое распространение названия этой концепции, и то, что профессор Вейгли написал прекрасно зарекомендовавшую себя книгу. Тем не менее, множество несостоятельных идей сохранилось из-за своей массовой распространённости, с благословения некорректно применённой учёности, а иногда даже и признанию на официальном уровне.

В первую очередь я должен описать подходы и цели этого эссе. Несмотря на скептицизм в предыдущем параграфе, в данной дискуссии будет доказано, что у концепции американского образа ведения войны есть важные достоинства. Более того, можно полагать, что признание этого особого “образа” будет иметь важное значение в дебатах о военной трансформации и оборонной стратегии США в целом. Основную причину, по которой это должно произойти, определить довольно легко. Вероятно, существует характерно американский способ ведения войны, который должен влиять на процесс военной трансформации, причём в неко-

торых отношениях непосредственным образом. Более того, это он найдет своё выражение и в стиле действий военного и стратегического характера, который на самом деле не может быть преобразован. Всё это носит весьма дискуссионный характер.

Будет полезно чётко сформулировать две противоположные позиции. С одной стороны можно утверждать, что характерно американский образ ведения войны существовал и существует. Книга Вейгли 1973 года положила начало, а позднее исследователи утверждали, что общественная, стратегическая и военная культура Америки оказывает постоянное, даже ключевое влияние. С другой стороны, есть теоретики, утверждающие, что американский способ ведения войны меняется в ответ на стимулы изменяющегося контекста. Элиот А. Коэн открыто излагает эту точку зрения в эссе “Косово и новый американский образ ведения войны”⁴⁷. Он вполне обоснованно утверждает, что “любой способ ведения войны имеет свои сильные и слабые стороны; на любой из способов, в конечном итоге, влияют политические обстоятельства и изменения в методах и технологиях”.

Данный вступительный раздел начинается вызывающе: “В чём суть вопроса?” Я полагаю, что вопрос не совсем в том, какая из двух полярных позиций правильна. Перефразируя, есть ли у Америки не зависящий от времени и не обусловленный культурой способ ведения войны? Или её способ ведения войны эволюционирует, даже радикально меняется по ходу изменения контекстов? Эти полярные позиции полезны как абстрактные идеалы, позволяющие зафиксировать на промежуточной шкале аргументы по широкому

⁴⁷ Eliot A. Cohen, “Kosovo and the New American Way of War,” in Andrew J. Bacevich and Cohen, eds., *War Over Kosovo: Politics and Strategy in a Global Age* (New York: Columbia University Press, 2001), p. 61. Cohen begins his essay with this claim: “The Kosovo war marks a departure from the traditional American way of war” (p. 38). See also Max Boot, “The New American Way of War,” *Foreign Affairs* 82 (2003): pp. 41-58.

спектру вопросов, признание которых наиболее значимо для политического и военного планирования. Вопрос, повторимся, заключается не в том, какая из полярных позиций правильна, но в том, какая из них ближе к истине, в каком смысле и почему.

На тот случай, если от кого-то из читателей ускользнула суть этого явно академического дискурса, я должен объяснить, что наша тема — не что иное, как изменчивость и адаптивность американского образа ведения войны. Если ставить вопрос более прямо: способны ли вооруженные силы США выполнять обещанное, и то, что по их собственным словам является необходимым, а также трансформироваться в более гибкий и адаптивный политический инструмент? Не менее важно, могут ли эти силы переключиться в непрерывный режим адаптивной трансформации, как они его называют? Или же они навсегда обречены быть ограниченными влиянием культурных и иных структурных факторов? Пророкам “нового американского образа ведения войны” нельзя позволять забывать о том, что Америка, как и любая другая страна, будет адаптировать, применять и использовать новые способы ведения военных действий. Сегодняшние планы преобразований ясно свидетельствуют о курсе на революционные изменения в военной культуре, но мы обнаружим (возможно, уже не в первый раз), что культурные факторы, обуславливающие типично американский образ ведения войны, не так легко отменить, пусть даже ради того, чтобы лучше соответствовать новым обстоятельствам. Культурные предпосылки, конечно, не являются чем-то неизменным, но и свободно менять их просто по чьей-либо воле или административному распоряжению невозможно.

Самый волнующий вопрос я оставил напоследок. А именно, даже если вооруженные силы США преобразовать так, чтобы они были более адаптивными и могли отвечать на вызовы изменяющегося стратегического контекста с высокой степенью неопределённости и его новыми (равно как и старыми) рисками, то как

данное преобразование скажется на эффективности американского образа ведения войны? Сохраняющаяся и по сей день проблема нашего образа ведения войны заключается не столько в том, насколько хорошо американцы сражаются, сколько в том, хорошо или плохо наши сражения и жертвы служат достижению наших политических целей. И что действительно мешает обсуждать вопросы американской обороны, так это общераспространённое смешение понятий «войны» и «военных действий» и, как следствие, смешение принципов войны с принципами ведения военных действий⁴⁸.

*Гипотеза об образе ведения войны
и проблема Очень Больших Идей*

Американское оборонное сообщество, по крайней мере в своем стратегическом интеллектуальном измерении, имеет некие общие черты с индустрией моды. Опытные эксперты по обороне в своих идеях буквально следуют веянию моды. Они делают это как для поддержания своего имиджа специалистов, так и для того, чтобы их финансирование не сократилось. Чем масштабнее идея, тем больше и её концептуальный охват и, соответственно, её организующая сила; следовательно, тем острее проявляется необходимость не отставать от общих интеллектуальных тенденций. В рядах оборонных экспертов есть лишь немного по-настоящему оригинальных мыслителей, но даже их вклад, весомый и значимый, должен быть оценен объективно, в свете того, что на самом деле никаких принципиально новых идей, имеющих отношение к войне и ведению боевых действий, просто не существует. Если Фукидид, Сунь-цзы, Клаузевиц или контр-

⁴⁸ Я развиваю этот аргумент в эссе под названием “From Principles of Warfare to Principles of War: A Clausewitzian Solution,” unpub. paper, University of Reading, UK, January 2005.

адмирал Дж.С. Уайли о чём-то не упоминали, то, вероятно, это и не заслуживает внимания⁴⁹.

Это явное отклонение от основной темы призвано подчеркнуть важность исторической перспективы. Таковая перспектива — не просто желательное дополнение, но необходимость. Макс Бут, часто цитируемый здесь, очень точно сформулировал эту мысль: “Прошлое — весьма ненадёжный ориентир для предсказания будущего, но единственный, что у нас есть”. Сообщество оборонных экспертов США имеет уязвимость, оно может быть захвачено модным словом недели, или концепцией года, или некой большой и многообещающей идеей, сулящей большие перспективы. Причина же этой уязвимости заключается в том, что сущностную пустоту (или, в лучшем случае, банальность) этих модных веяний трудно распознать тем потребителям информации, которые не защищены знанием истории.

Оборонное сообщество, которое испытывает сложности с изучением истории, будет всегда подвержено соблазну поддаться своим надеждам в ущерб урокам опыта, как своего, так и опыта всех остальных. Если уроки не извлекаются или просто забываются социальными институтами, у которых нет памяти, то естественно, что учиться на собственном опыте становится просто невозможно. Мы придерживаемся этой линии на протяжении всего эссе, чтобы сделать её очевидной. Дебаты об американском образе ведения войны, и особенно о том, в какой степени мы можем его трансформировать, требуют от участников дискуссии способности и желания противостоять как вызову ис-

⁴⁹ Robert B. Strassler, ed., *The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War*, Richard Crawley trans., rev. ed. (New York: Free Press, 1996); Sun Tzu, *The Art of War*, Ralph D. Sawyer trans. (Boulder, Colo.: Westview Press, 1994); Carl von Clausewitz, *On War*, Michael Howard and Peter Paret trans. (Princeton: Princeton University Press, 1976); J. C. Wylie, *Military Strategy: A General Theory of Power Control* (Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1989).

торической обусловленности, так и невыученных уроков. Если историческая перспектива отсутствует, дебаты вряд ли будут интеллектуально содержательными, способными вместить хотя бы крупицы трезвого анализа, советы по оборонной стратегии, политике и планированию сил.

Будучи оптимистичной, устремлённой в будущее сверхдержавой, Соединенные Штаты почти всегда склонны предаваться привлекательной иллюзии о том, что их будущее (в данном случае будущее военной стратегии) — это чистый лист, который заполняется в соответствии с национальными интересами. Совершенно очевидно, что привлекательность идеи трансформации в точности равна её способности принести разочарование. Если смело взяться за преобразования, не обращая внимания на сложность стратегии и *культурной* преемственности (мы вынуждены использовать этот термин за неимением лучшего), то не нужно быть провидцем, чтобы предугадать провал⁵⁰. Настойчивые указания Сунь-цзы на самопознание как на жизненно важный элемент в строении интеллекта давались не просто так⁵¹.

Вероятно, не будет лишним подчеркнуть еще раз, что в данном эссе идея американского способа ведения войны рассматривается с двух взаимосвязанных, но различных точек зрения. Во-первых, нам следует рассмотреть вопрос о том, смогут ли Соединенные Штаты преобразовать свои вооруженные силы таким образом, чтобы они были эффективными в будущих войнах. Во-вторых, что ничуть не менее важно, следует выяснить, сможет ли пусть даже и радикально преобразованный, но эволюционирующий американский образ ведения войны соответствовать критерию Клау-

⁵⁰ О сложности стратегии см. Colin S. Gray, *Modern Strategy* (Oxford: Oxford University Press, 1990), гл.1; *Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History* (London: Frank Cass, 2002), гл. 4-5.

⁵¹ Сунь Цзы, *Искусство войны*.

зевица о службе в качестве эффективного политического инструмента⁵².

В отличие от причудливого жаргона, лёгкое знакомство с которым так отличает оборонных экспертов, сама концепция национального способа ведения войны не лишена ни содержания, ни политической актуальности. Однако общепризнано, что утверждение это является несколько спорным. Если верить, что страна может по своему усмотрению революционно изменить способ ведения войны, равно как и подготовки к ней, то очевидно, что говорить о национальном образе ведения войны просто не имеет смысла. Такой образ просто будет означать текущий военный стиль, скрыто или явно присутствующий в политическом руководстве, оборонных планах и военном потенциале. Чтобы иметь смысл, термин “американский образ ведения войны” должен относиться к важным и устойчивым предпочтениям, умственным привычкам и поведенческим шаблонам. При правильном рассмотрении, образ войны будет отражать сохраняющееся влияние того, что британский историк Джереми Блэк пронизательно назвал *культурными предпосылками*⁵³.

Армия США может сколько угодно призывать к культурной революции в своих рядах и заявлять о её необходимости для достижения успеха в процессе трансформации (который и в самом деле является перманентным). Совсем не очевидно, однако, что культурная революция может совершиться путём такого рода усилий, какими бы искренними и решительными они ни были. В конце концов, культурные предпосылки являются продуктом исторического опыта, вернее его интерпретации, национальной (или иной) идеологии, и, помимо всего прочего, чувства идентичности. Американцам может быть трудно принять утверждение о том, что на их будущие стратегические

⁵² Клаузевиц, *О войне*.

⁵³ Jeremy Black, *Rethinking Military History* (London: Routledge, 2004), pp. 13 -22.

результаты влияет то, что они являются американцами, со своим специфическим “культурным программным обеспечением”. Было бы серьезной ошибкой полагать, что возможности Америки, единственной современной сверхдержавы, простирающиеся во многие измерения, позволяют ей стратегически видоизменяться и адаптироваться к любой ситуации, в соответствии с новыми или старыми вызовами безопасности.

Возможно, несколько запоздало, но я должен поднять тревогу по поводу опасностей, связанных с Очень Большими Идеями. Они неизбежно, в силу необходимости, упрощают всё таким образом, что даже важные вопросы остаются в тени или предаются забвению, если не вписываются в предлагаемую картину мира. Тот, кто изобрёл или переоткрыл мастер-нарратив, как правило, обычно легко и быстро меняет роль теоретика-инноватора на воинствующего пророка новой религии. Если даже “американский образ ведения войны” кто-то находит чрезмерно претенциозным, сложным, глобальным и расплывчатым, то что говорить о гораздо более высокопарной концепции Виктора Дэвиса Хэнсона о “западном образе ведения войны”⁵⁴

Этот западный путь противопоставляется, конечно же, восточному или ориентальному пути. К счастью, в этом эссе я не обязан продолжать дебаты или описывать их суть по поводу этого в самом деле захватывающего тезиса Хэнсона. Я упоминаю его исключительно для того, чтобы проиллюстрировать утверждение: Очень Большие Идеи часто бывают глубоко ошибочными⁵⁵. Особенно это касается тех случаев, когда теоретик злоупотребляет эмпирикой. Такое злоупот-

⁵⁴ Victor Davis Hanson, *The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece* (London: Hodder and Stoughton, 1989); *Why the West Has Won: Carnage and Culture from Salamis to Vietnam* (London: Faber and Faber, 2001).

⁵⁵ Критические замечания о Hanson см. у John Lynn, *Battle: A History of Combat and Culture* (Boulder, Colo.: Westview Press, 2003); а также Black, *Rethinking Military History*, pp. 1-3.

ребление практически неминуемо, когда он или она выдвигает глобальную теорию, претендующую на объяснение всего. Всегда найдутся неудобные исторические факты, не вписывающиеся в основное повествование. Это не означает, что глобальные теории подлежат отрицанию, по крайней мере, полному. Но это означает, что мы платим высокую цену за все те детали, которые приходится игнорировать, и противоречия, которые приходится просто не принимать во внимание, во имя глобального объяснения. Снова процитируем профессора Блэка:

«Важно избегать мета-нарративов (всеохватывающих интерпретаций), относиться с осторожностью к парадигмам, монокаузальным объяснениям и объяснительной культуры, посвящённой рассмотрению военной истории в долгосрочной перспективе. Напротив, важно акцентировать внимание на разнообразии военной практики, в разных местах и в разные времена, и не спешить с описательными характеристиками и объяснениями военного потенциала и преобразований»⁵⁶.

Аминь. Нам следует обратить внимание на профессиональную реакцию историка против больших идей и его сопротивление тому, как множество деталей жертвуются в интересах ясности общей картины, и как отбрасываются свидетельства очевидцев, которые плохо вписываются в общую картину. Лишь очень немногие историки заслуживают называться концептуально сложными. У каждой профессии есть свои профессиональные предубеждения. К примеру, мы, социологи, склонны строить теории на опасно тонкой эмпирической базе. Как любил повторять мой бывший коллега Герман Кан, «Когда пытаешься увидеть лес целиком, то порой спотыкаешься о дерево». В этом эссе я ут-

⁵⁶ Black, *Rethinking Military History*.

верждаю, что, несмотря на все опасности метанарратива, концепция американского способа ведения войны является эмпирически устойчивой и имеет большое значение для будущего стратегического развития страны. Однако, прежде чем приступить к разъяснению и обоснованию этой позиции, я должен прояснить, почему столь пренебрежительно отношусь к современному жаргону, модным словечкам и концепциям *du jour*.

Глубокое понимание концепции порождает не презрение к ней, но наоборот способствует признанию, легитимности и, в конечном счете, авторитетности. Оборонные эксперты, будучи людьми практичными, обычно вкладывают все силы в решения проблем текущего момента, в областях политики, планирования и исполнения, и не очень склонны к научной деконструкции большой идеи, связанной с этим моментом. Такая деконструкция обычно воспринимается как бесполезная и в лучшем случае не имеющая отношения к реальным проблемам. К счастью или нет, но концепции имеют значение. Некоторые Очень Большие Идеи могут питать очень большие ожидания, которые остро нуждаются в критическом анализе.

От себя замечу, что когда я указал на бессодержательность некоторых концепций, ставших в последнее время модными в Министерстве обороны, мне заявили в ответ, что такова нынешняя «технико-юридическая терминология» и, следовательно, данные концепции конструктивной критике не подлежат. Возможно, некоторые читатели, уже догадались, что это эссе посвящено встрече — воздержусь от того, чтобы назвать это столкновением двух необычайно сильных концепций: американского способа ведения войны и военной трансформации. В настоящее время, несмотря на все ведущиеся разговоры об американском образе ведения войны, эта концепция всё ещё не привлекла того пристального внимания, которого заслуживает. Конечно, если вы полагаете, что вооруженные силы США и, соответственно, их образ (способы) ведения войны,

могут быть изменены настолько, чтобы называться трансформацией, то под вопросом оказывается сама целостность образа ведения войны, формируемого культурой. Далее в эссе я рассматриваю этот центральный вопрос.

Хотя мета-нарративы и передают обычно некоторые ценные идеи, ценность и количество этих идей сильно варьируются. Если рассмотреть примеры из «каталога продаж» больших концепций за последние пятнадцать лет, то в общем и целом обнаружится, что каждая из этих концепций сохраняет некоторую ценность. Мы также заметим, что в этом нет ничего неожиданного, если учесть, что рассматриваемая концепция до сих пор существует. Выберите свои любимые. Я с некоторой симпатией упоминаю: конкурентные стратегии; RMA, конечно же; операции, базирующиеся на эффектах (EBO); асимметричные угрозы; сетцентрическая война (NCW); и война четвертого поколения (4GW). Проблема каждого из этих популярных, зачастую ставшего и официальным, понятий, заключается не столько в том, что на практике они выходят за свои границы, сколько в их сущностной банальности.

Разве стратегия (или стратегии) не обязана быть конкурентной? Станет ли кто-нибудь всерьёз оспаривать утверждение, что время от времени, пусть и нерегулярно, но характер военных действий радикально меняется? Можно ли проводить военные операции иначе, чем с целью достижения желаемых результатов? Воюющие стороны неизменно являются в той или иной степени асимметричными в стратегически значимых аспектах. Стремление компенсировать свои слабые стороны путём поиска тех мер воздействия, угрозе которых противник не в состоянии противостоять, — вот в чем заключается ведение войны, неизбежно являющейся «дуэлью в большом масштабе»⁵⁷.

⁵⁷ Клаузевиц, *О войне*.

Сетецентрическая война (NCW) — хорошая идея, и всегда ею была. Если мы можем позволить себе её полную техническую реализацию, и если люди на острие нашего копья не будут перегружены информацией, то использование NCW желательно. Что касается концепции войны четвёртого поколения (4GW), то при ближайшем рассмотрении оказывается, что она является одновременно и констатацией очевидного факта (большая часть современных войн носит нерегулярный характер) и опасной авантюрой в области крайне маловероятных событий⁵⁸. Последнее замечание относится к тому факту, что 4GW серьёзно недооценивает вероятность возвращения к конфликту между великими державами⁵⁹. Концепция 4GW действует не как ключ, открывающий глубокое понимание последних нескольких столетий истории стратегии, но как гладкое историческое исследование, чья внутренняя стройность обеспечивается ценой чрезмерного упрощения и пренебрежения противоречиями.

256

Можно ли концепцию американского, или вообще любого другого образа ведения войны упрекнуть в выходе за пределы своей компетенции, в излишней исторической предвзятости, или даже в банальной очевидности и сущностной пустоте, которые мешают только что перечисленным амбициозным идеям?

⁵⁸ См. Thomas X. Hammes, *The Sling and the Stone: On War in the 21st Century* (St. Paul, Minn.: Zenith Press, 2004).

⁵⁹ Я отстаиваю эту точку зрения в своей книге *Another Bloody Century: Future Warfare* (London: Weidenfeld and Nicolson, 2005).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА



Сбоку от реальности 4

м и к р о

Нелли Цымбаленко. Туй-Туй 6

Федор Бирюков. Апрельские тезисы 13

п р о з а

Михаил Сеньков. Улыбка матери 28

Вадим Климов. Старухи.

Лицемерный водевиль в 15 плевках 33

Дмитрий Колейчик. Комната и кнопка 48

Павел Лукьянов. Фотография 66

мертвый текст

<i>Энтони Берджесс. Пожизненный пассажир</i>	81
<i>Уильям Берроуз. Дневники Ли</i>	95

школа трупов

<i>Александр Дугин. Сумерки бесов</i> (на смерть Трахтенберга)	139
---	-----

jean luc godard

<i>Жан-Люк Годар. Что делать?</i>	143
<i>Жан-Люк Годар и Жан-Пьер Горен.</i> Исследование образа	146
<i>Давид Фару. «Вертовизм» группы Дзига Вертов</i> ...	174
<i>Жан-Люк Годар. Философствуя через борьбу.</i> Интервью	183
<i>Вадим Климов. Прощай, Жан-Люк Годар</i>	195

extremum

<i>Михель Гофман. Виртуальный человек</i>	197
<i>Евгений Головин. Так называемая серьезность</i>	207
<i>Эмиль Чоран. Обособленный народ</i>	210
<i>Колин С. Грэй. Американский образ</i> ведения войны. Критика и последствия	244

ИЗДАНИЯ «ОПУСТОШИТЕЛЯ» МОЖНО КУПИТЬ

в Москве:

Фаланстер Тверская, 17

Ходасевич Покровка, 6

Листва Жуковского, 4с1

Порядок слов в Иллизионе Котельническая наб., 1/15

Книжный в Клубе Покровский бульвар, 6/20с1

Гнозис Турчанинов переулок, 4с2

PRIMUS VERSUS Покровка, 27

Москва Тверская, 8с1

Библио-Глобус Мясницкая, 6/3с1

в Санкт-Петербурге:

Все свободны Некрасова, 23

Подписные издания Литейный, 57

Порядок слов Набережная реки Фонтанки, 15

Листва Литейный проспект, 33

Во весь голос Маяковского, 19

Иное кино Невский, 60 (кинотеатр «Аврора»)

Брянск **Закладка** улица Калинина, 107

Верхняя Пышма **Книги, кофе и др. измерения** Успенский, 99

Владимир **N1KE7UP** Большая Московская, 22а, цокольный этаж

Воронеж [**Элефтерия**] Кардашова, 5

Грозный **Jeanne Books** Хамзата Орзамиева, 29

Краснодар **Чарли** Красная, 69

Краснодар **Bookowsky** Рашилевская, 106

Пермь **Пиотровский** Ленина, 54

Ставрополь **князь МЫШКИН** Космонавтов, 8

Томск **Догма 80** Ленина, 85а, 2 этаж, офис 4

Ярославль **Книжная лавка Юрия Швецова** Свердлова, 9

www.opustoshitel.ru, totenburg.org,

ozon.ru, Читай-город, Лабиринт

mybooks.by (Беларусь)

merion.lv (Латвия)

Пропажа эксклюзивной информации из открытого доступа позволила таким монструозным сервисам, как YouTube и Facebook, занять ведущие позиции. Самые популярные видеохостинг и социальная сеть, ага.

Или самые популярные представители либеральной цифровой тюрьмы. YouTube и Facebook беззастенчиво вводят цензуру, запрещают обсуждение или хотя бы упоминание целого ряда неудобных тем, персоналий и событий.

Эти кладези цифрового либерализма навязывают определенные взгляды, запрещая любые их альтернативы вплоть до изгнания из сообщества и полного забвения (cancel culture). Птичий новояз, убогий конструктор так называемых fake news, табу на определенные слова и тому подобная репрессивная ахинея. Это и есть либерализм.

Самый настоящий, другого никогда не было. Разве что в слащавых фантазиях слабоинформированных интеллигентов. Либерализм это Гулаг и Освенцим в одном флаконе. Усиленный Оруэлл и усугубленный Кафка.

Но как сервисы, разделяющие столь людоедские принципы, могли занять центральное место? Здесь стоит вернуться в начало текста о пропаже эксклюзивной информации из открытого доступа. Если суетливая биомасса способна лишь рециклировать уже имеющийся материал, то в паре спикер-аудитория роль ведущего переходит к аудитории.

Уже не она ищет источник информации, но спикер отчаянно привлекает к себе зрителей/слушателей/читателей. Отсюда эти постыдные, раболепные увещевания в каждом ролике или посте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий...

Поистине переворачивание мира с ног на голову. Только в такой вселенной, где всему эксклюзивному заткнули рот, и может доминировать либеральная мразь вроде YouTube и Facebook.